

Тонкое исследование
человеческой природы,
наивности, заблуждений,
нарциссизма.
Oakland Tribune

ВЕРА



Элизабет фон Арним

Элизабет Арним

Вера

Издательство "Livebook/Гаятри"

1921

УДК 82-3
ББК 84

Арним Э. ф.

Вера / Э. ф. Арним — Издательство "Livebook/Гаятри" , 1921

ISBN 978-5-907428-68-3

Создательница восхитительного «Колдовского апреля» Элизабет фон Арним называла «Веру» своим лучшим романом. Это драматичная и отчасти автобиографичная история о том, что любовь обманчива и люди подчас не те, какими кажутся в дни романтических ухаживаний. Люси и Эверард недавно потеряли близких: она – любимого отца, он – жену, Веру. Нарастающая сердечная привязанность ведет героев к неминуемому браку. Но может ли брак быть счастливым, если женщина ослеплена любовью, а мужчина – эгоист, слушает только самого себя? И что же случилось с Верой, чья смерть стала внезапной для всех обитателей родового поместья? Роман увидел свет в 1921 году, и тот час же читатели поставили его в один ряд с «Грозным перевалом» Эмили Бронте.

УДК 82-3

ББК 84

ISBN 978-5-907428-68-3

© Арним Э. ф., 1921

© Издательство "Livebook/
Гаятри" , 1921

Содержание

I	6
II	10
III	14
IV	17
V	23
VI	28
VII	30
VIII	34
IX	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Элизабет фон Арним Вера

Elizabeth von Arnim
VERA

В оформлении обложки использована иллюстрация Коулза Филлипса (Coles Phillips).

© Наталия Рудницкая, перевод на русский язык, 2022
© Livebook Publishing Ltd, 2022

I

Доктор ушел, две вызванные им из деревни женщины поднялись в комнату, где лежал отец, и Люси вышла в сад. Она стояла, опершись на ворота, и смотрела на море.

Отец умер в девять утра, сейчас двенадцать. Полуденное солнце нещадно пекло, и пожелтевшая от жары трава на утесе, пыльная дорога, сверкающее море, редкие белые облака, зависшие в небе, – все плавилось в молчаливом, неподвижном мареве.

Люси глядела в пустоту, тоже неподвижная, словно окаменевшая. На глади моря не было ни паруса, ни дымка далекой пароходной трубы, в небе – ни одного птичьего росчерка. Казалось, всему, что только могло двигаться, был дан приказ замереть. Замолчать, как во сне.

Люси смотрела на море, на сверкающий пустой мир, лицо у нее тоже было пустым. Отца нет уже три часа, а она ничего не чувствует.

С того дня, как они с отцом приехали в Корнуолл, прошла всего неделя – они были полны надежд, предвкушали удовольствие от маленького меблированного домика, который сняли на август и сентябрь, верили, что здешний воздух непременно пойдет ему на пользу. Эта вера не оставляла их все годы, что он болел, не было ни мгновения, когда б они усомнились. Он был болезненным человеком, она о нем заботилась. Она заботилась о нем, сколько помнила себя, потому что болезненным он был всегда. И он был в ее жизни всем. Пока она росла, то думала только об отце – ни на кого другого мыслей у нее просто не оставалось. Он заполнял ее разум и сердце. Они шагали по жизни вдвоем – вместе убегали от зим, кочевали из одного прелестного местечка в другое, разглядывали одни и те же красивые вещицы, читали одни и те же книги, разговаривали, смеялись, заводили друзей – толпы друзей: куда б они ни приезжали, отец тут же обзаводился друзьями, вливавшимися в массу друзей старых. Она не жила без него ни дня – да у нее и желания такого не возникало. Где и с кем могла она быть так же счастлива? Все эти годы над нею сияло солнце. Зим не было – только лето, бесконечное лето, и сладкие запахи, и мягкие небеса, и терпеливое понимание ее не слишком подвижного ума – а ведь у него был очень быстрый ум, и любовь. Он был для нее самым увлекательным собеседником, самым щедрым другом, самым эрудированным наставником, самым обожающим отцом, и вот теперь он мертв, а она ничего не чувствует.

Отец. Умер. Его больше нет.

Она произнесла вслух. Слова – и только.

Теперь она одна. Без него. Навсегда.

Она снова произнесла вслух. Тоже только слова.

Наверху, в комнате с распахнутыми окнами, в обществе не допускавших к нему деревенских женщин, лежал мертвый отец. Получается, что, когда он улыбнулся, он улыбнулся ей в последний раз, в последний раз что-то сказал, в последний раз назвал очередным смешным прозвищем, которые он придумывал с таким удовольствием. Но почему? Всего несколько часов назад они завтракали и составляли план на день. Почему? Только вчера они после чая поехали посмотреть на закат, и он своим острым взглядом выхватил на обочине какую-то траву, остановился, собрал, взволнованный тем, что обнаружил редкость, а потом отнес траву к себе в кабинет и объяснил ей – и она поняла, – что такого особенного в этих ростках, которые, если б он к ним не прикоснулся, оставались бы обычной придорожной травой. И такое происходило со всем – его прикосновение дарило жизнь и радость. Он разложил травинки по промокательной бумаге на подоконнике столовой, и они лежали там, ожидая, когда он ими займется. Она видела травинки, когда шла через сад, посуда от завтрака – их последнего завтрака – все еще стояла на столе: растерявшиеся слуги забыли убрать. Он упал, когда вставал из-за стола. Умер. Мгновенно. Без вскрика, без взгляда. Ушел. Перестал быть. Исчез.

А какой чудесный день, такой жаркий. Он любит жару. С погодой им повезло...

Нет, звуки все-таки были – она вдруг слышала суетливые шаги из комнаты наверху, всплески воды, осторожный стук, когда глиняные кувшины ставили на пол. Женщины сказали, что, когда все будет готово, она сможет к нему подняться. Женщины старались ее успокоить, и слуги, и доктор. Успокоить? Она же ничего не чувствует!

Люси смотрела на море, думала, изучала то, что случилось, с любопытством, холодно, словно со стороны. Ее разум был совершенно чист. Она видела каждую мелочь, каждую подробность. Она все знала и ничего не чувствовала – как Бог, сказала она себе, да, как Бог.

С дороги, по обе стороны от ворот ярдов на пятьдесят отгороженной деревьями и кустами, послышались шаги, и между нею и морем возник человек. Она не видела его, потому что не видела ничего, кроме своих мыслей, он прошел совсем близко.

Но он-то ее видел и, идя мимо ворот, пусть и на короткое время, разглядывал в упор. Ее лицо, выражение лица удивили его. Он был не очень-то наблюдателен, а нынче еще менее наблюдателен, чем обычно, потому что был поглощен собственными заботами, и все же, когда перед ним возникла эта неподвижная фигура, когда он увидел эти широко открытые глаза, смотревшие сквозь него, явно его не видевшие, он так удивился, что даже отвлекся от мыслей о себе и чуть было не остановился, чтобы повнимательнее рассмотреть это странное создание. Но воспитание не позволило, и он продолжил путь вдоль тех пятидесяти ярдов деревьев и кустов, что отделяли от дороги вторую половину сада, однако шел все медленнее и медленнее, и в конце сада, там, где дорога начала карабкаться к вершине утеса и дальше, следуя, насколько было видно, прихотям береговой линии, приостановился, глянул назад, прошел еще пару ярдов, снова остановился, снял разогретую солнцем шляпу, вытер со лба пот, посмотрел на пустынные поля впереди, на ползущую под солнцем дорогу, очень медленно развернулся и направился вдоль кустов назад, к воротам.

Он шел и твердил про себя:

– Боже, как я одинок! Я не в состоянии это вынести. Я должен поговорить хоть с кем-то. А то совсем с ума сойду...

Потому что так уж получилось, что общественное мнение потребовало от этого человека – звали его Уимисс, – чтобы он отказался от каких-либо контактов и дел, хотя ему больше всего нужна была компания и что-то, что позволило бы отвлечься. Но ему пришлось погрузиться в одиночество по меньшей мере на неделю, отказаться от нормального образа жизни, от дома у реки, в котором он только-только успел приступить к летнему отдыху, от лондонского дома, откуда он, по крайней мере, мог бы ходить в свой клуб, а общественное мнение решило, что оплакивать утрату надлежит в одиночестве. Остаться один на один с неприятностями – да кому, скажите на милость, это может пойти на пользу?! Это жестоко, все равно что приговорить человека к одиночному заключению! Он отправился в Корнуолл, потому что Корнуолл далеко – целый день в поезде туда и целый день обратно, в оба конца получается уже два дня из недели скорби, к которой его приговорило общественное мнение, и все равно еще оставалось целых пять дней чудовищного одиночества, блуждания по береговым утесам, когда и занять себя нечем, и поговорить не с кем. Из-за общественного мнения даже в бридж не поиграешь! Все же знали, что с ним произошло. Во всех газетах написано. Стоит назвать свое имя, как сразу все поймут. Это случилось совсем недавно. Всего лишь на прошлой неделе...

Нет, это решительно невыносимо! Он должен поговорить хоть с кем-нибудь. Девушка явно странная, с таким-то взглядом. Она не станет возражать, если он с ней немного поболтает, может, посидит с ним в саду. Она поймет.

Уимисс страдал как ребенок. Чуть не разрыдался, когда подошел к воротам и снял шляпу, а девушка по-прежнему глядела на него невидящими глазами, и словно бы и не слышала, когда он сказал:

– Не будете ли вы столь любезны принести мне воды? Я... Очень жарко...

Из-за того, как она на него смотрела, он даже начал запинаться:

– Я... Ужасно хочется пить... Жара...

Он вытащил платок, вытер лоб. До чего жарко! Красный, расстроенный, лоб мокрый от пота, сморщился, как ребенок, который вот-вот заплачет. Девушка казалась такой спокойной, безжизненно спокойной. Руки ее, лежавшие на верхней перекладине ворот, выглядели не просто прохладными – они казались ледяными, словно сейчас зима. У нее была короткая стрижка, поэтому трудно понять, сколько ей лет, однако каштановые волосы так и сияли на солнце, а лицо ее было лишено красок, на нем выделялись только широко раскрытые глаза, безучастно смотревшие сквозь него, да довольно крупный рот, но даже губы у нее, казалось, замерзли.

– Не затруднит ли вас... – снова начал Уимисс, и тут на него нахлынул весь трагизм его ситуации.

– Вы даже представить не можете, какую любезность вы бы оказали, – заявил он дрожащим голосом, – если бы позволили немного отдохнуть в вашем саду.

В голосе его было столько муки, что невидящие глаза Люси ожили. До нее дошло, что этот расстроенный и пышущий жаром незнакомец о чем-то ее просит.

– Вам жарко? – спросила Люси, которая на самом деле заметила его только сейчас.

– Да, мне жарко, – ответил Уимисс. – Но не только в этом дело. У меня случилась беда... Ужасная неприятность...

Он умолк, вспомнив и о том, что случилось, и о том, до какой степени несправедливо все случившееся.

– О, простите, – произнесла Люси, еще не до конца осознавшая его присутствие, все еще погруженная в странное равнодушие. – Вы что-то потеряли?

– Слава богу, нет, не такого рода неприятность! – вскричал Уимисс. – Позвольте зайти на минуту... В ваш сад, только на минуту... Просто посидеть минутку с человеческим существом. Вы даже не представляете, как мне это нужно. Вы человек посторонний, поэтому я могу поговорить с вами, если вы, конечно, позволите. Я потому и могу с вами говорить, что мы не знакомы. С тех пор... С тех пор, как это случилось, я не разговаривал ни с кем, кроме слуг и официальных лиц. Два дня я не говорил ни с одной живой душой... Я просто с ума схожу...

И его голос снова задрожал от обиды, от осознания того, как он несчастен.

Люси вовсе не считала, что невозможность поговорить с кем-то в течение двух дней – слишком серьезное испытание, но странный человек был до такой степени удручен, что она очнулась от апатии. Не до конца – она по-прежнему словно наблюдала все происходящее откуда-то со стороны, однако он все-таки пробудил в ней легкую заинтересованность. В его напоре было нечто от первобытной силы. Что-то, присущее природным феноменам. Но она не сдвинулась с места, а ее глаза продолжали смотреть с непонятной для него прямоотой и спокойствием.

– Я бы с радостью позволила вам войти, – сказала она, – если бы вы попросили об этом вчера. Но сегодня у меня умер отец.

Уимисс с недоумением уставился на нее. Она произнесла это ровным тоном, как если бы говорила о погоде.

И тут он понял. Озарение снизошло к нему из-за собственной драмы. Он, который никогда не знал боли, который никогда не позволял себе беспокоиться о чем бы то ни было, не позволял себе сомневаться в собственном образе существования, в эту неделю очутился вдруг в эпицентре волнения и боли, и если бы разрешил себе думать, стать болезненно впечатлительным, волнение и боль могли бы перерасти в несправедливые, мучительные сомнения. Он понял – а всего неделю назад понять бы не мог, – о чем говорит ее странная заторможенность. Он посмотрел ей в глаза – она тоже смотрела на него, и вдруг его большие горячие руки опустились на ее ледяные руки, и, крепко удерживая ее, хотя она и не пыталась вырваться, он сказал:

– Значит, вот в чем дело. Вот почему. Теперь я понял.

И добавил с простотой, которую позволила ему его собственная ситуация:

– Тогда все сходится. Тогда нас двое, переживших удар, и нам стоит поговорить.
И все еще одной рукой придерживая ее руки, отворил створку ворот и вошел.

II

На крохотной лужайке, под шелковицей, стояла скамейка, спиной обращенная к дому и к распахнутым окнам, и Уимисс повел к ней Люси, держа ее, словно ребенка, за руку.

Она шла с ним спокойно и послушно. Какая разница – сидеть под шелковицей или стоять у ворот? Этот суетливый незнакомец – он настоящий? И все остальное – настоящее? Пусть рассказывает, что он хочет, она выслушает, подаст ему стакан воды, потом он уйдет, к этому времени женщины закончат свои дела наверху, и она снова будет рядом с отцом.

– Сейчас принесу воды, – сказала она, когда они подошли к скамейке.

– Нет. Присядьте, – попросил Уимисс.

Она села. Он тоже сел, отпустил ее руку, и рука безвольно упала на скамейку ладонью вверх.

– Странно, что мы с вами вот так встретили друг друга, – произнес он, глядя на нее, она же равнодушно смотрела на траву, блестящую на солнце там, где ее не накрывала тень шелковицы, на усаженную фуксиями клумбу поодаль. – Я чувствую себя словно в аду, да и вы, наверняка, тоже. Господи боже, настоящий ад! Ничего, если я вам расскажу? Вы поймете, потому что сами...

Люси не возражала. Она вообще ни против чего не возражала. Единственная мысль, которая у нее мелькнула, да и то где-то на краю сознания: а почему он считает, что она чувствует себя как в аду? Ад и ее любимый отец – как чудно это звучит. Она заподозрила, что все это ей снится. Это не на самом деле. Отец не умер. Вот сейчас придет горничная с горячей водой и разбудит ее, и будет следующий чудесный день. Человек, который сидит рядом, – ну да, он какой-то слишком живой для сна, столько подробностей: красное лицо, потный лоб, а еще прикосновение большой горячей руки и волны жара, исходящие от него, когда он шевелится. Но это так неправдоподобно... Все, что происходило после завтрака, *неправдоподобно*. Человек тоже превратится во что-то... Ну, во что-то, что было, например, вчера, она перескажет отцу за завтраком этот сон, и они будут смеяться...

Она поежилась. Это не сон. Это все на самом деле.

– Не поверите, до чего ужасная история, – удрученно произнес Уимисс, глядя на аккуратную маленькую головку с короткими прямыми волосами, на печальный профиль.

Сколько ей? Восемнадцать? Двадцать восемь? Нет, с такой стрижкой угадать невозможно, но она явно моложе его, наверное, даже намного моложе, поскольку ему уже за сорок и он так исстрадался, так исстрадался из-за этой ужасной истории.

– Все так чудовищно, что если вы против, то я и рассказывать не стану, – продолжал он, – хотя вряд ли вы будете против, потому что вы чужой человек, а мой рассказ поможет вам пережить ваши собственные неприятности, потому что как бы вы ни страдали, ваши страдания все равно несоизмеримы с моими, вы сами увидите, что вам не так уж и плохо. К тому же я должен с кем-то поговорить, потому что иначе сойду с ума...

Определенно это сон, подумала Люси. Наяву такого, такой нелепицы случиться не может.

Она повернулась и посмотрела на него. Нет, не сон. Этот основательный господин, сидящий рядом с ней, не из сна. О чем он там говорит?

Он же страдающим голосом говорил о том, что его зовут Уимисс.

– Вы Уимисс, – серьезно повторила она.

Его имя не произвело на нее никакого впечатления. Она ничего не имела против того, что он – Уимисс.

– Я тот самый Уимисс, о котором газеты писали всю прошлую неделю, – объявил он, видя, что его имя ничего в ней не затронуло. – Господи! – продолжал он, вытирая лоб, на котором

тут же снова выступал пот. – Эти рекламные листовки на газетных киосках! Как ужасно, когда отовсюду на тебя смотрит твое собственное имя!

– А почему ваше имя было на листовках? – спросила Люси.

На самом деле она ничего об этом не хотела знать, спросила механически, прислушиваясь к звукам из комнаты наверху.

– Вы здесь газет не читаете? – спросил он вместо ответа.

– Вряд ли, – сказала она, вслушиваясь. – Мы только что въехали. Не думаю, что мы вспомнили о том, что надо заказать доставку газет.

На лице Уимисса проступило облегчение.

– Тогда я могу рассказать, что случилось на самом деле, – сказал он, – раз у вас нет предубеждения, порожденного этими чудовищными предположениями, о которых говорили на дознании. Как будто я и так мало страдал! Как будто это все и так недостаточно ужасно...

– На дознании? – повторила Люси.

Она снова повернулась к нему:

– Значит, ваши проблемы связаны со смертью?

– Конечно, разве что-то иное могло бы довести меня до такого состояния?

– О, простите, – сказала она, и ее глаза и голос изменились, в них появилось что-то живое, почти ласковое. – Надеюсь, это не кто-то, кого вы... Кого вы любили?

– Моя жена, – сказал Уимисс.

Он вскочил, чуть не плача при мысли об этом, при мысли о том, что ему пришлось вынести, и, повернувшись к ней спиной, принялся обрывать листья с ветки у себя над головой.

Люси наблюдала за ним, подперев подбородок обеими руками.

– Расскажите, – сказала она спокойно и ласково.

Он снова тяжело опустился на скамейку, и постоянно восклицая, что не понимает, как такое ужасное бедствие могло произойти с ним, именно с ним, который никогда...

– Да, – серьезно ответила Люси, – да, я понимаю...

– ...никогда не сталкивался с... С бедствиями! – снова заявил он и рассказал наконец свою историю.

Как всегда, двадцать пятого июля они с женой – а они всегда делали это двадцать пятого июля – перебрались на лето в свой дом у реки, где он предвкушал славное время ничегонеделанья после всех этих месяцев в Лондоне; он намеревался валяться в плоскодонке и читать, покуривать, отдыхать, ведь Лондон такое ужасное место, от него страшно устаешь, но не прошло и двадцати четырех часов, как его жена... как его жена...

Воспоминание оказалось слишком тяжелым. Он не мог говорить.

– Она была... Она была больна? – ласково спросила Люси, дав ему время успокоиться. – В таком случае, по крайней мере, можно как-то подготовиться...

– Она вовсе не болела! – вскричал Уимисс. – Просто умерла!

– О, совсем как мой отец! – разволновавшись, воскликнула Люси.

Теперь уже она сама накрыла своей рукой его руки. Уимисс схватил ее руку и принялся рассказывать.

Он писал письма в библиотеке, за столом у окна, из которого видно террасу, и сад, и реку, за час до этого они выпили чаю, с этой стороны дома мощеная плитам терраса, а задняя стена библиотеки примыкает к главным комнатам, и вдруг между ним и светом возникла какая-то тень, тень промелькнула, и он услышал глухой удар, он никогда его не забудет, этот звук, а за окном, на каменных плитах...

– О нет... О нет... – выдохнула Люси.

– Там была моя жена, – торопливо проговорил Уимисс, теперь не способный остановиться, в глазах его было удивление и ужас. – Она упала из окна своей гостиной, гостиная у

нее наверху, из-за вида... Как раз над библиотекой... Она пролетела мимо моего окна, как камень... И разбилась... разбилась...

– О нет, нет!

– Теперь вы понимаете, в каком я состоянии?! – вскричал он. – Понимаете, что я просто схожу с ума? А меня обрекают на одиночество – заставили уединиться, потому что предполагается, будто я должен скорбеть в одиночестве столько времени, сколько считается приличным, а я не могу думать ни о чем, кроме этого ужасного дознания!

Он стиснул ее руку до боли.

– Если бы вы не позволили зайти и поговорить с вами, я бы наверняка бросился вон с того утеса, и положил бы всему конец!

– Но как, почему... Как получилось, что она упала? – прошептала Люси, которой рассказ о страданиях несчастного Уимисса показался самым страшным из всего, что она когда-либо слышала.

Она внимала его словам, уставившись на него, слегка приоткрыв рот, всем своим существом выражая сочувствие. Жизнь – какая она страшная, сколько в ней неожиданного! Живешь себе, живешь, не думая о том ужасном дне, когда спадут все покровы, и перед тобой предстанет смерть, которая на самом деле всегда была рядом, смерть только притворялась и ждала. Вот и отец – полный любви, любопытства, планов, – ушел, перестал быть, как какой-нибудь жучок, на которого случайно наступили на прогулке, или жена этого человека, погибшая в одно мгновение, погибшая так жестоко, так ужасно...

– Я не раз предупреждал ее об этом окне, – ответил Уимисс почти сердито, впрочем, в его голосе все время прорывались сердитые нотки на чудовищную злонамеренность судьбы. – Оно очень низкое, а пол скользкий. Дубовый. Все полы в моем доме из полированного дуба. Я сам приказал так сделать. Она, наверное, высунулась из окна, а ноги заскользили. Вот почему она упала головой вперед...

– Ох, ох... – вздрогнула Люси.

Что же ей сделать, что сказать, чтобы как-то смягчить эти ужасные воспоминания?

– А потом, – через мгновение продолжил Уимисс, как и Люси, не осознавая, что она гладит его руку своей дрожащей рукой, – на дознании, словно все это и так не было для меня ужасно, присяжные заспорили о причинах смерти.

– О причинах смерти? – переспросила Люси. – Но ведь она... упала!

– Перессорились из-за того, произошло это случайно или намеренно.

– Намеренно?

– Самоубийство.

– Ох...

Она втянула в себя воздух.

– Но... Это же не так?

– Да как это может быть? Она была моей женой, никаких забот не знала, все для нее, никаких проблем, ничего, что ее беспокоило бы, и со здоровьем все хорошо. Мы были женаты пятнадцать лет, и я всегда был ей предан... Всегда предан.

Он стукнул свободной рукой по колену. В голосе его слышались слезы негодования.

– Тогда почему присяжные?..

– Моя жена держала дуру-горничную – я эту женщину всегда терпеть не мог, – и вот на дознании она сказала кое-что, кое-что, о чем моя жена якобы ей говорила. Вы же знаете этих слуг. Ну, и это подействовало на некоторых присяжных. Вы же знаете, из кого собирают коллегия – мясник, пекарь, собачий лекарь, большинство совершенно темные люди, дикие, готовы поверить чему угодно. И вот, вместо того чтобы вынести вердикт о смерти в результате несчастного случая, они объявили, что присяжные не смогли прийти к какому-либо выводу. Открытый вердикт.

– Как это ужасно... Как ужасно для вас! – промолвила Люси дрожащим от сочувствия голосом.

– Вы бы знали об этом, если б на прошлой неделе читали газеты, – сказал Уимисс, уже спокойнее.

Он выговорился, и ему стало легче. Он глянул в ее лицо, в полные ужаса глаза, увидел дрожащие губы.

– А теперь расскажите о себе, – сказал он, почувствовав что-то вроде угрызений совести: несомненно, то, что случилось с ней, не могло идти ни в какое сравнение с тем, что произошло с ним самим, но все же и она только что перенесла удар, встреча их произошла на общей территории несчастья, познакомила их сама Смерть.

– Неужели жизнь – это только смерть? – тихо спросила она, глядя на него полными муки глазами.

Но перед тем, как он смог ответить – а как он мог бы ответить на такой вопрос, кроме как «Нет, это не так», что и он, и она просто жертвы чудовищной несправедливости – он-то точно жертва, потому что ее отец наверняка умер, как умирают все отцы, как положено, в постели, – итак, перед тем, как он смог ответить, из дома вышли две женщины и мелкими почтительными шажками проследовали к воротам. Солнце освещало их строгие фигуры и приличные черные одежды, которые специально хранятся для таких случаев.

Одна из них увидела под шелковицей Люси и, сначала замешкавшись, направилась к ней через газон медленным тактичным шагом.

– Здесь кто-то хочет с вами поговорить, – сказал Уимисс, поскольку Люси сидела спиной к дорожке.

Она вздрогнула и повернулась.

Женщина, склонив голову набок и сложив на груди руки, нерешительно приблизилась и слегка улыбнулась, выражая тем самым почтительное сочувствие.

– Джентльмен готов, мисс, – мягко произнесла она.

III

Этот и весь следующий день Уимисс был для Люси опорой и утешением. Он делал все, что надлежало сделать в связи со смертью, – то, что приносит дополнительные страдания, словно специально предназначенные для того, чтобы окончательно раздавить скорбящего. Правда, доктор был очень добр и готов помочь, но это был совершенно чужой человек, до того ужасного утра она никогда его не видела, к тому же у него были и другие дела – его пациенты жили на изрядном друг от друга расстоянии. Уимиссу же было совершенно нечем себя занять. И он мог целиком посвятить себя Люси. Он стал ее другом, их так странно и так тесно связала смерть. Ей казалось, что с самого начала времен он и она направлялись рука об руку вот к этому месту, к этому дому и саду, к этому году, этому августу, этому моменту их существования.

Уимисс как-то совершенно естественно занял место близкого родственника мужского пола, каковое близкий родственник мужского пола непременно занял бы, если бы вообще существовал, и его облегчение от того, что у него нашлось дело, притом дело практичное и срочное, было таким огромным, что никогда еще приготовления к похоронам не совершались с большим рвением и энергией – можно даже сказать, с большим энтузиазмом. Он еще не оправился от кошмара других похорон, сопровождавшихся молчанием друзей и косыми взглядами соседей – а все из-за идиотов-присяжных и их нерешительности и злобности той тетки – он-то понял, что она обозлилась из-за того, что он отказался в прошлом месяце повысить ей жалованье! – а эти похороны, которыми он занимался сейчас, были такими простыми и бесхитростными, что ему все было даже в удовольствие. Никаких беспокойств, никаких забот, и эта девушка, такая благодарная. После каждого визита к гробовщику – а он в рвении своем нанес их несколько – он возвращался к Люси, и она была полна благодарности, и не только благодарности: она явно радовалась его возвращением.

Он видел, что ей становится нехорошо, когда он удаляется вверх по утесу по делам, такой целеустремленный и такой непохожий на того несчастного, полного детского негодования человека, который совсем недавно едва тащился по этому же склону, – ей явно это не нравилось. Она понимала, что он должен идти, она была ему благодарна и, не стесняясь, выражала свою благодарность – Уимисс даже подумал, что еще никогда не встречал никого, кто выражал бы благодарность так искренне, – она понимала, что он повинуетя долгу, и все же ее недовольство было не скрыть. Он видел, что она зависит от него, что она цепляется за него, и это ему льстило.

– Только недолго, – тихо говорила она каждый раз, глядя на него с мольбой, и когда он, вернувшись и отирая со лба пот, горделиво докладывал о выполнении очередного этапа подготовки, на ее лицо возвращались краски, и она смотрела на него глазами ребенка, которого оставили одного в темной комнате, а потом в эту комнату вошла со свечой в руке мать. Вера никогда на него так не смотрела. Вера принимала все, что он для нее делал, как должное.

Естественно, он не мог позволить бедной малышке спать одной в этом доме вместе с покойником и чужими слугами, которые прилагались к дому и которые ничего не знали ни о ней, ни об ее отце, и с наступлением ночи, возбужденные и расстроенные, вполне способны удрать в деревню, поэтому в семь вечера он перенес свои вещи из жалкой гостиницы в бухте и объявил о намерении спать на диване в гостиной. Он с ней пообедал, выпил вместе с ней чаю, и вот теперь собирался с ней же и ужинать. Уимисс не представлял, что бы она делала без него.

Он считал, что был достаточно деликатным и тактичным, говоря о диване в гостиной. Он, конечно, мог бы претендовать и на кровать в свободной спальне, но не намеревался извлекать ни малейшей выгоды из положения бедной малышки. Слуги, когда увидели его, такого солидного, в возрасте, под шелковицей, где он держал юную леди за руку, сразу предположили, что он родственник, и потому были удивлены, когда он приказал постелить ему в гостиной,

хотя наверху были готовы две гостевые спальни, однако повиновались, вообразив, что это из-за того, что в гостиной французские окна и он беспокоится о безопасности; Люси же, когда он сказал ей, что остается на ночь, была так искренне благодарна, что ее глаза, и так покрасневшие от горя, которое волнами накатывало на нее в течение дня – увидев наконец отца, такого далекого, завернутого в саван и, казалось, внимательно к чему-то прислушивавшегося, она оттаяла и разразилась рыданиями, – снова наполнились слезами.

– О, – прошептала она, – вы *так добры*...

Уимисс обо всем подумал: он и к гробовщику ходил несколько раз, и к доктору, чтобы взять свидетельство о смерти, и к викарию насчет похорон, и телеграфировал единственной ее родственнице – тете, и отправил некролог в «Таймс», и даже напомнил ей, что на ней голубое платье, а хорошо бы переодеться в черное, и этот последний пример его предусмотрительности ее просто сразил.

Она так боялась подступающей ночи, что не могла о ней думать, и каждый раз, когда он отправлялся по делам, сердце у нее сжималось при мысли о том, что вот наступят сумерки, он уйдет в последний раз и она останется одна, совсем одна в этом молчаливом доме, а наверху будет лежать странное, удивительное, поглощенное собой нечто, которое когда-то было ее отцом, и чтобы с ней ни случилось, какой бы ужас ни охватил ее в ночи, какая бы опасность ни грозила, он не услышит, не узнает, а останется лежать там спокойный, спокойный...

– Как вы *добры*! – сказала она Уимиссу, и на глаза ее навернулись слезы. – Что бы я без вас делала!

– Но что бы я делал без *вас*? – ответил он, и они уставились друг на друга, пораженные сутью возникшей между ними связи, близостью, тем, что каким-то чудом случилось так, что они встретились на пике отчаяния и спасли друг друга.

И еще долго после того, как зажглись звезды, они сидели на краю утеса, Уимисс курил и рассказывал голосом, приглушенным ночью, и тишиной, и обстоятельствами, о своей жизни, о том, как благополучно и спокойно она текла до прошлой недели. Почему этот покой должен был быть нарушен, да еще так жестоко, он вообразить не мог. Он точно этого не заслуживал. Он не знает, кто мог бы, положив руку на сердце, заявить, что в жизни творил только добро, но про себя он, Уимисс, точно может, что уж зла, по крайней мере, он никому не причинил.

– О нет, вы творили добро, – сказала Люси голосом тоже совсем тихим из-за ночи, и тишины, и обстоятельств, кроме того, он дрожал от переполнявших ее чувств, ее голос был очаровательно серьезным, она верила в свои слова. – Я знаю, вы всегда, всегда творили только хорошее, потому что вы добрый. Я не могу представить вас иначе, кроме как помогающим людям и старающимся их успокоить.

На что Уимисс ответил, что, конечно, он всегда старался поступать правильно и что, хотя все люди так о себе говорят, судить все-таки надо по тому, что о нем говорили другие, а он не всегда добивался успеха, и часто, очень часто его ранили, глубоко ранили непониманием.

А Люси сказала, что разве возможно неправильно его понять, такого очевидно хорошего человека, такого доброго?

А Уимисс сказал, что да, человек может полагать, что его легко понять, потому что он естественный и простой и потому что в жизни ему нужны только мир и покой. Разве он столь многого просил? Вера...

– А кто это – Вера? – спросила Люси.

– Моя жена.

– Ах, нет, – убежденно произнесла Люси, взяв его руку в свои. – Пожалуйста, не говорите об этом на ночь, не позволяйте себе об этом думать. Если б только я могла найти слова, способные вас утешить...

А Уимисс сказал, что ей не нужно ничего говорить, достаточно того, что она здесь, с ним, позволяет ему ей помочь, достаточно и того, что она никак не связана с его прежней жизнью.

– Разве мы не похожи на двух детей, – произнес он тоже с глубоким волнением, – на двух испуганных, несчастных детей, цепляющихся друг за друга во тьме?

Так они и беседовали вполголоса, словно в святом месте, сидя рядышком, глядя на мерцавшее под звездами море, вокруг них скапливались темнота и прохлада, и прогретая днем трава отдавала сладкие запахи, на гальку внизу лениво накатывали мягкие волны, пока Уимисс не сказал, что уже давно, наверное, пора спать и что она, бедняжка, наверняка очень устала.

– Сколько вам лет? – вдруг спросил он, повернувшись и изучая слегка светившийся в темноте ее профиль.

– Двадцать два, – ответила Люси.

– А по виду легко можно было бы дать и двенадцать, – заявил он, – если не слушать то, что вы говорите.

– Это из-за прически, – сказала Люси. – Моему отцу нравилось... Ему нравилось...

– Не надо, – сказал Уимисс, в свою очередь беря ее руку. – Не плачьте. Сегодня вечером больше не плачьте. Пойдемте в дом. Вам пора спать.

Он помог ей подняться. Когда они вошли в холл, он увидел, что на этот раз ей удалось сдержать слезы.

– Спокойной ночи, – сказала она, когда он зажег для нее свечку. – Спокойной ночи, и благослови вас Господь.

– Пусть Господь благословит *вас*, – торжественно произнес он, удерживая ее руку в своей большой теплой руке.

– Он и благословил. Правда благословил, послав мне вас, – улыбнулась она.

И впервые с той минуты, как он узнал ее – а ему тоже казалось, что он знает ее всю свою жизнь, – он увидел ее улыбку, и поразился тому, как преобразилось ее измученное, покрасневшее от слез лицо.

– Сделайте так опять, – сказал он, глядя на нее и удерживая ее руку.

– Сделай что? – переспросила Люси.

– Улыбнитесь.

И тогда она засмеялась, но собственный смех, прозвучавший в молчаливом, печальном доме, шокировал ее.

– Ох! – выдохнула она, понутив голову, пристыженная своим смехом.

– Помните, вы должны лечь и ни о чем не думать, – приказал ей Уимисс, пока она медленно поднималась по ступенькам.

Она действительно сразу уснула, она устала сверх всякой меры, но чувствовала себя защищенной, как ребенок, который потерялся и заплакал до полного изнеможения, но все-таки нашел мамушку.

IV

Все это закончилось вечером следующего дня, когда прибыла мисс Энтуисл, тетушка Люси.

Уимисс ретировался в гостиницу и не появлялся до следующего утра, дав Люси время объяснить, кто он такой, но либо тетушка слушала невнимательно, либо растерялась в неожиданном и столь прискорбно свалившихся на нее новых обстоятельствах, либо Люси объяснила все как-то невнятно, но мисс Энтуисл сочла Уимисса другом ее дорогого Джима, одним из многочисленных друзей дорогого, дорогого брата, и потому приняла его помощь и его самого очень искренне и тепло и щедро делилась с ним воспоминаниями.

Уимисс сразу же и для нее стал опорой, и она тоже прильнула к нему. А поскольку прильнувших стало двое, он уже не мог беседовать исключительно с Люси. До самых похорон ему не удавалось остаться с Люси наедине, но поскольку мисс Энтуисл положительно не могла существовать без него, то и наедине с собою он не оставался ни часу. За исключением завтрака он питался в маленьком домике на утесе, а по вечерам выкуривал свою трубку под шелковицей, где мисс Энтуисл мягко и торжественно вспоминала прошлое, и Люси сидела так близко, как только было возможно, пока не наступало время отправляться ко сну.

Доктор советовал поторопиться с похоронами, но ни время, ни расстояния не помешали друзьям Джеймса Энтуисла прибыть на церемонию. Маленькая церковь в бухте была забита до отказа, маленькая гостиница была переполнена грустными людьми. Уимисс, который поспевал везде и всюду, растворился в этой толпе. По счастью – поскольку то, о чем писали на прошлой неделе газеты, еще не изгладилось из людской памяти – оказалось, что у него с Джеймсом Энтуислом не имелось общих друзей. На двадцать четыре часа он был полностью отрезан от Люси этим потоком скорбящих, и во время поминальной службы он со своего места у самой двери мог разглядеть лишь ее склоненную головку в переднем ряду.

Он снова почувствовал себя ужасно одиноким. Он не задержался бы в церкви ни на минуту, ибо испытывал здоровое отвращение ко всему связанному со смертью, если бы не считал себя постановщиком, если можно так выразиться, именно этой церемонии и где-то в глубине души относился к похоронам как к результату своего творчества. Он испытывал законную гордость. Учитывая, как мало времени было отпущено на подготовку, он добился замечательных результатов, потому что все шло чрезвычайно гладко. Но завтра – что будет завтра, когда все эти люди разъедутся? Не заберут ли они с собой Люси и тетушку? Не будет ли закрыт дом, и не останется ли опять он, Уимисс, один-одинешенек со своими горькими воспоминаниями? Конечно, если Люси уедет, он уедет тоже, но куда бы он ни отправился, везде будет пусто без нее, без ее признательности, мягкости, беспомощности. В течение этих четырех дней они находили друг в друге успокоение, и он был уверен, что и она без него почувствует ту же пустоту, которую он будет чувствовать непременно.

В темноте, под шелковицей, пока тетушка мягко и печально повествовала о прошлом, Уимисс иногда накрывал рукой руку Люси, и она никогда не убирала свою. Так они и сидели, рука об руку, успокаивая друг друга. Он видел, что она полагалась на него, как дитя: верила в него, знала, что с ним она в безопасности. Он был тронут этим доверием и гордился им, и теплая волна поднималась в нем каждый раз, когда при виде него ее лицо оживало. Вот у Веры лицо так не оживало никогда. За все пятнадцать лет, что они были вместе, Вера так и не смогла понять его так, как всего за полдня поняла эта девушка. И сама манера, то, как Вера умерла, – а какой смысл прятаться от собственных мыслей? – так вот, умерла она так же, как жила: без всякого уважения к другим и к тому, что ей говорилось для ее же блага, она всегда была упрямой, делала только то, что ей нравилось, например, высовывалась из опасного окна, и ни разу, ни на минутку не подумала... Только вообразить, в какой кошмар она его ввергла, в

какой невероятный кошмар, в какие несчастья, а все потому, что нарочно не прислушивалась к его предупреждениям, даже приказам по поводу этого окна. Уимисс считал, что если взглянуть на дело беспристрастно, то трудно обнаружить большее безразличие к желаниям и чувствам других.

Он сидел, сложив на груди руки и горестно стиснув губы, и предавался мрачным мыслям во время всей похоронной службы, и вдруг увидел лицо Люси. По проходу шествовал священник, за ним несли гроб, а за гробом шли Люси и ее тетюшка.

Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалью: как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается...

Голос священника, голос человека печального и разочарованного, произносил прекрасные слова, послеполуденное солнце через западные окна и открытую западную дверь освещало лицо священника и лица траурной процессии, и все казалось черно-белым – черные одежды, белые лица.

Самым белым было лицо Люси, и когда Уимисс увидел это лицо, сердце у него растаяло, и он, сам того не осознавая, вышел из тени и зашагал рядом с ней во главе процессии, рядом он стоял и у могилы; в тот ужасный миг, когда первые комья земли ударились о крышку гроба, он, не обращая ни на кого внимания, взял ее руку и все время крепко держал.

Никто и не удивился, что он вот так стоял рядом с ней. Это как бы разумелось само собой. Наверняка это какой-то родственник бедняги Джима. Никто не удивился, когда он повел Люси наверх, к дому на утесе, по-прежнему поддерживая ее за руку, словно он здесь был главным скорбящим, а тетюшка шла следом, поддерживаемая кем-то еще.

Он с ней не разговаривал, никоим образом не пытался привлечь к себе ее внимание, отчасти потому, что дорога круто поднималась вверх, а он не привык бродить по утесам, отчасти же потому, что чувствовал: отделенные от других своими печалью, они понимали друг друга без слов. И когда они добрались до дома, первыми из всех, кто были в церкви, словно – эта мысль не могла не прийти ему в голову – после венчания, он самым твердым своим голосом наказал ей сразу подняться наверх и прилечь, и она послушалась, как слушаются высшего авторитета те, кто испытывает полное доверие.

– Кто это? – осведомился тот, кто сопровождал мисс Энтуисл.

– О, очень старый друг дорогого Джима, – прорыдала она, поскольку начала рыдать с самых первых слов заупокойной службы и была не в силах остановиться. – Мистер... Мистер Уи... Уимисс...

– Уимисс? Не помню, чтобы когда-нибудь видел его с Джимом.

– О, один из его... его стар... старейших друзей, – взвыла окончательно утратившая над собой контроль мисс Энтуисл.

Уимисс, по-прежнему пребывавший в роли главного скорбящего, был единственным, кого попросили остаться на вечер в осиротевшем доме.

– Не удивляюсь, – заявила за ужином мисс Энтуисл все еще полным слез голосом, – что мой дорогой брат был так вам предан. Вы так нам помогли, так нас поддерживаете...

И ни Уимисс, ни Люси не стали ее разубеждать.

Да и какой в этом был смысл? Изможденная Люси, едва ли способная думать после всего того, что происходило в эти четыре дня, сидела за столом, понурившись, и лишь где-то на краешке сознания у нее мелькнула мысль, что, если б отец был знаком с Уимиссом, он наверняка был бы ему предан. Он не был с ним знаком, они разминулись – да, всего на три часа, и этот ее чудесный друг был первым, что у них с отцом не было общим. Что же касается Уимисса, то если люди сами приходят к каким-то выводам, то и бог с ними. В любом случае он не мог пускаться в объяснения в середине ужина, в присутствии подававшей блюда и подслушивавшей служанки.

Правда, был один неловкий момент, когда мисс Энтуисл жалобным голоском заявила, что нисколько не удивилась бы – в этот момент она кушала бланманже, последнее из серии холодных блюд, которыми не лишенная воображения кухарка, истинная дочь кельтов, выразила свое отношение к печальным обстоятельствам, – если в завещании Джима будет сказано, что он назначает мистера Уимисса опекуном бедной Люси.

– Я ведь единственная – о боже, как трудно это произнести! – была единственной родственницей моего дорогого брата. Никаких других родственников у нас нет, а я уже не молода. Я всего лишь на год моложе – была моложе! – Джима, и я тоже в любой миг могу...

Тут мисс Энтуисл снова разрыдалась и уронила ложку.

– ...могу уйти в мир иной, – закончила она, пока ее сотрапезники почтительно молчали.

– И когда это случится, – продолжала она, справившись с чувствами, – бедная Люси останется совсем одинокенька, если только Джим не подумал заранее и не назначил опекуна. Надеюсь, что это будете вы, мистер Уимисс.

Ни Люси, ни Уимисс не произнесли ни слова. Во-первых, рядом все время толкалась служанка, во-вторых, странно было бы именно сейчас пускаться в объяснения, которые следовало сделать четыре дня назад.

Тут подали круг мертвенно-бледного сыра – наверняка местного, поскольку Уимисс раньше никогда такого сыра не видел, – и трапеза завершилась очень крепким холодным кофе. Вся тщательная выверенность кухаркиного сочувствия ускользнула от внимания его вкушавших – они ничего не заметили, по крайней мере, не заметили того, что хотела выразить кухарка. Пожалуй, только Уимисс был слегка раздосадован тем, что кофе подали холодным. Он безропотно съел все остальное холодное и липкое, но человек вправе ожидать, что кофе ему подадут горячим, холодный кофе – это было для него нечто новое. Он это отметил, и был удивлен, что дамам это странным не показалось. Впрочем, чему удивляться – известно ведь, что женщины не интересуются едой, даже лучшие из них не очень разборчивы, что уж говорить о других. В этом отношении Вера была ужасна, в конце концов ему самому приходилось как заказывать блюда, так и нанимать и увольнять кухарок.

Он встал из-за стола открыть перед дамами дверь, слегка продрогший, чувствуя в себе, как он сам для себя определил, некую вязкость, и, оставшись наедине с блюдом чернослива и каким-то зловещего вида вином в графине, которое он пить не стал, потому как, взяв графин, услышал, как внутри звякает лед, смиренно – насколько был способен – позвонил в колокольчик и приглушенным голосом, поскольку французское окно в сад, куда удалились Люси и тетушка, было распахнуто, осведомился у служанки, есть ли в этом доме такие вещи, как виски и содовая.

Служанка, симпатичная девица, которая – и это она сама первой признавала – чувствовала себя с джентльменами намного легче, чем с дамами, принесла и то, и другое, и спросила, понравился ли ему ужин.

– Совершенно не понравился, – ответил Уимисс, который не намеревался скрывать свое мнение.

– Понятно, сэр, – сказала служанка, сочувственно кивая. – Понятно, сэр.

А затем, тоже косясь в сторону распахнутого окна, полупшепотом пояснила, почему ужин не был обычным, да никто и не ждал, что кто-то станет им наслаждаться, но это дань уважения кухарки покойному хозяину в день его похорон – хозяину, которого они знали, вот беда-то, всего неделю, но который очень нравился и ей, и кухарке, он был такой вежливый, никаких хлопот не доставлял.

Уимисс слушал, потягивая успокаивающий напиток и покуривая сигару.

А говорливая служанка продолжала, что, мол, ужин был бы совсем другим, если б кухарке не нравился бедный джентльмен. А вот когда они с кухаркой служили в другом месте, где умерла леди, которая кухарке не нравилась, – это была неаккуратная и непорядочная леди,

совершенно не умела себя вести, конечно, она была ну совсем не леди, – так вот, когда ее прибрал Господь, не так, как бедного джентльмена, в одночасье, Господь прибирал ее постепенно, – кухарка расстаралась. К счастью, семья не поняла намека, потому что ужин начинался с жареной камбалы...

– Вы сказали, с жареной камбалы? – переспросил он, уставившись на служанку.

– Да, сэр. С жареной камбалы. Я сначала тоже не поняла. Но кухарка сказала, что весь смысл в том, как что пишется¹. А следующим блюдом шли, – тут служанка понизила голос до еле слышного, – ребра дьявола².

В последние две недели Уимиссу ни разу не пришлось даже улыбнуться, а тут на него накатил приступ смеха – к его собственному ужасу, потому что он представил, как его смех подействует на скорбящих женщин на лужайке. Да и для него самого хохот звучал чудовищно.

Эти звуки перепугали не только его, но и служанку. Она подскочила к окну и захлопнула его. Уимисс, пытаясь сдержать ужасный смех, задыхался, кашлял, прижав к лицу льняную салфетку, бился в судорогах. Он весь покраснел. Служанка таращилась на него в полном ужасе. Поначалу ей тоже показалось, что он смеется, хотя чего там смешного дядюшка Уимисс (под таким именем он фигурировал в разговорах на кухне) увидел в том, как кухарка выражала мнение о прежней хозяйке, служанка понять не могла – у самой-то у нее, когда она впервые услышала эту историю, мурашки побежали, теперь же она перепугалась, что он вовсе даже и не смеется, а что он болен чем-то там страшным. Она прямо вся одеревенела при мысли о том, что вот тут, в кресле, закрыв лицо салфеткой, в корчах бьется еще один будущий покойник. И если перед этим она захлопнула окно, то теперь снова распахнула и в панике помчалась в сад за дамами.

Это отрезвило Уимисса. Он вскочил и, бросив недокуренную сигару и недопитое виски, тоже устремился в сад, чтобы в середине лужайки столкнуться со спешившими к нему Люси и тетужкой.

– Я подавился, – объявил он, вытирая салфеткой глаза, и в самом деле полные слез.

– Подавились? – повторила за ним встревоженная мисс Энтуисл. – А мы слышали такой странный шум...

– Это я... я задыхался и кашлял, – сказал Уимисс. – Но теперь уже все в порядке, ничего страшного не случилось, – пояснил он Люси, которая смотрела на него с обеспокоенным видом.

Он почувствовал, что с него довольно и смерти, и похоронной атмосферы, больше он не выдержит. Наступила реакция, и довольно сильная. Он хотел сбежать от горя, снова оказаться среди нормальных, веселых людей, избавиться наконец от обстоятельств, в которых смех считается чем-то неприличным. Ему казалось, что он с головой погрузился в черную трясины – сначала эта ужасная история с Верой, теперь это убитое горем семейство.

Реакция Уимисса, которую запустила история служанки, была внезапной и резкой. Его бесили опухшие глаза мисс Энтуисл. Даже печальное лицо Люси раздражало его. Вот это все противно природе! Это нельзя поощрять! Один Господь знает, сколько он выстрадал, насколько его муки сильнее, чем обыкновенные страдания этих Энтуислов, и если уж он считает, что пришло время обратиться к другим вещам, то Энтуислы и подавно должны так чувствовать. Устал он от похорон! Эти вот он провел от начала до конца блистательно, но все закончено, и он хочет вернуться к естественной жизни. Смерть казалась ему чем-то крайне неестественным. Уже само то, что она случается с каждым только один раз, говорило о ее исключительности, думал Уимисс, и это крайне его раздражало. Почему бы им с Энтуислами уже прямо завтра куда-нибудь не поехать, подальше от этого дома, за границу, в приятное местечко, где их никто не знает и никто не ждет, что они все время будут ходить с печальными

¹ По-английски «камбала» (*sole*) и «душа» (*soul*) произносятся одинаково. Здесь и далее примеч. переводчика.

² «Deviled bones» – букв. «Ребра дьявола» (англ.) – жареные говяжьи ребра под очень острым соусом.

физиономиями? Например, в Остенде? Все его сочувствие и мягкость на мгновение куда-то испарились. Его бесил тот факт, что существуют обстоятельства, при которых человек, смеясь, ощущает вину, будто преступление какое совершает. Естественный человек, вроде него самого, и взгляды имеет естественные, здоровые. Это естественно и правильно – забывать о горестях, выбрасывать их из головы. Если условности, это порождение жестокости и лицемерия, настаивали на том, что человек должен хорошенечко пропитаться несчастьями, что благодаря им он должен стать лучше и что чем кислее у него физиономия, тем, считается, достойнее он себя ведет, – если условности настаивали на этом (а они настаивали, как убедился Уимисс после несчастного случая с Верой), то почему тогда не бросить им вызов? Он чувствовал, что в одиночку бросить вызов у него не получится, и, в соответствии с тем, что от него ожидалось, удалился в горе и печали, но теперь, когда у него есть Люси и ее тетушка, смотревшие на него снизу вверх и доверявшие ему, в нем не сомневавшиеся и его не критиковавшие, все изменилось. К нему вернулась трезвость мышления, его естественное здоровое состояние, которое было присуще ему всегда – до этой прискорбной истории с Верой.

– Я бы хотел с вами поговорить разумно, – объявил он, глядя на две щуплые фигурки и печальные усталые лица, в угасающем свете казавшиеся совсем бесплотными.

– Со мной или с Люси? – спросила мисс Энтуисл.

Они уже обе впали от него в полную зависимость и смотрели на него преданно, как собачки на своего хозяина.

– И с вами, и с Люси, – ответил Уимисс, с улыбкой глядя в поднятые к нему лица.

Он ощущал себя истинным мужем, тем, кто принимает решения.

Он впервые назвал Люси по имени. Для мисс Энтуисл это было чем-то само собой разумеющимся, но не для Люси, она даже покраснела от удовольствия, и снова почувствовала себя под защитой, поверила, что о ней заботятся. Какой бы печальной и измученной ни была она под конец этого печального дня, она все же заметила, как прекрасно ее столь обычное имя звучит в устах этого добрейшего человека. И подумала: а как его-то зовут? Имя у него должно быть достойным его – ну, не Альберт, например.

– Нам пройти в гостиную? – спросила мисс Энтуисл.

– А почему не под шелковицей? – ответил Уимисс, который, естественно, хотел держать Люси за руку, а это было возможно только в темноте.

Так что они уселись здесь, как и в другие вечера – Уимисс посередине, рука Люси, поскольку уже достаточно стемнело, покоится в его руке.

– Нужно, чтобы розы вновь вернулись на щеки этой малышки, – начал он.

– Вот именно, вот именно! – согласилась мисс Энтуисл, и голос ее дрогнул при воспоминании о том, что согнало розы с щек Люси.

– И что вы намерены делать? – спросил Уимисс.

– Главное – время, – выпалила мисс Энтуисл.

– Время?

– И терпение. Мы обе должны т...т... терпеливо ждать, п...п... пока время...

Мисс Энтуисл торопливо достала носовой платочек.

– Нет, нет! Я не согласен! Это неестественно, это неразумно – продлевать страдания. Простите за прямоту, мисс Энтуисл, но я всегда говорю прямо, и вот я говорю: нет никакого резона упиваться – вот именно, упиваться – горем. Далеко не всякий способен вытерпеть ожидание. И вовсе не следует покорно ждать, пока время соизволит помочь – нет, время надо брать за грудки. В таких ситуациях – а поверьте мне, я знаю, о чем говорю, – и в этот момент та его рука, что была дальше от мисс Энтуисл, нежно стиснула руку Люси, а она придвинулась к нему чуть ближе, – наш долг перед самими собой – не сдаваться. Мужество, смелость – вот к чему должно стремиться, вот что служит примером.

Ах, какой он замечательный, подумала Люси, такой большой, такой храбрый, такой прямодушный, и ведь сам недавно стал жертвой ужаснейшей катастрофы. В самой манере его речи чувствовалась сила. Ее дорогой отец и его друзья говорили совсем по-другому. Их беседы порхали по комнате, как светлячки, такие быстрые, такие блистающие, порой она ничего не понимала, пока отец, когда она потом спрашивала, о чем шла речь, не растолковывал ей, не пересказывал попроще, а он всегда стремился к тому, чтобы она разделяла его интересы и все понимала. А вот у Уимисса она понимала каждое слово. Когда он говорил, ей не приходилось напрягаться, вслушиваться, стараться понять – она воспринимала сказанное им сразу, без мыслительных усилий. И это успокаивало.

– Да, – пробормотала в платочек мисс Энтуисл, – да, вы совершенно правы, мистер Уимисс. Человек должен... Должен проявлять героизм. Но если любишь... Любишь кого-то всем сердцем – как я любила своего дорогого брата, и как Люси любила своего чудесного отца...

И голос у нее снова прервался, она снова принялась вытирать глаза.

– Может быть, – продолжила она, – вам не довелось любить кого-то очень, очень сильно, а потом потерять...

– Ох, – выдохнула Люси и придвинулась к нему еще ближе.

Уимисс был глубоко уязвлен. Да как мисс Энтуисл могла предположить, что он никогда никого не любил? Если оглянуться назад, то очень даже любил. Определенно любил Веру до самого последнего момента, когда она так его подвела. И с негодованием подумал: да что эта старая дева может знать о любви?

Но ручка Люси, такая беззащитная, такая понимающая, покоилась в его руке. Гнев ушел.

Он помолчал, а потом очень мрачно произнес:

– Всего две недели назад у меня умерла жена.

Мисс Энтуисл была повержена.

– Ах! – вскричала она. – Простите, простите...

V

Ему так и не удалось уговорить ее отправиться вместе с ним за границу, захватив и Люси. Она неустанно бормотала что-то соболезнующее по поводу постигшей его утраты – он-то не сказал ей ничего, кроме самого факта, а она была не из тех, кто читает в газетах о дознаниях и прочем, – а также о том, как глубоко они признательны ему, который, пребывая в печалих, столь самоотверженно им помогал, однако – нет, за границу она не поедет. И сообщила, что они с Люси намерены удалиться в ее домик в Лондоне.

– Как, в августе?! – воскликнул Уимисс.

Да, там тихо, а они обе устали и жаждут одиночества.

– Тогда почему бы не остаться здесь? – спросил он, уверившись в том, что тетушка Люси – настоящая эгоистка. – Здесь достаточно уединенно, во всех смыслах.

Нет, они не смогут оставаться в этом доме. Люси надо поехать в какое-то другое место, что не так связано с отцом. Нет, нет! Она понимает и высоко ценит замечательные, бескорыстные мотивы, стоящие за его предложением отправиться на континент, но они с Люси не в том состоянии, чтобы выносить отели, официантов, оркестры, это просто невозможно, все, чего они хотят, – забраться в свое тихое гнездышко. «Словно птицы-подранки», – пролепетала мисс Энтуисл, глядя на него снизу вверх, как поранившая лапу собачка.

– Для Люси очень плохо, если ее будут заставлять считать себя раненой птичкой, – заявил Уимисс, изо всех сил стараясь скрыть разочарование.

– Тогда вам стоит повидать нас в Лондоне и помочь нам почувствовать себя доблестными, – сказала мисс Энтуисл с жалкой улыбкой.

– По мне было бы куда лучше и проще видаться с вами здесь, – стоял на своем Уимисс.

Однако мисс Энтуисл, какой бы слабой ни выглядела, оказалась упорной. Она отказалась оставаться там, где Уимиссу было бы удобнее всего, и к мнению о том, что тетушка Люси эгоистична, прибавилось и соображение о ее упрямстве. А еще о неблагодарности. Она воспользовалась им, а теперь намеревается совершенно беспардонным образом, даже не задумываясь, дать ему отставку.

Мисс Энтуисл порядком ему надоела, потому что в течение двух дней после похорон он Люси почти не видел: она паковала вещи отца. Уимисс слонялся по саду, не зная, когда она закончит и выйдет, наконец, а пропустить этот миг он не хотел; компанию ему составляла мисс Энтуисл, которая не могла помочь Люси – и никто не смог бы – в этом душу разрывающем занятии.

Эти два дня показались ему чудовищно длинными. Мисс Энтуисл уверовала, что между нею и им установилась особенная дружба, Уимисс же в этом отнюдь не был уверен. Когда она объявила об этом, он еле удержался, чтобы не возразить. А мисс Энтуисл подкрепила свою уверенность тем, что как у нее, так и у Уимисса существовала крепкая связь с их дорогим Джимом, которого они оба так нежно любили, к тому же их объединила печаль – за эти две недели он потерял жену, а она потеряла брата.

Уимисс поджал губы и промолчал.

И это же так естественно для нее, глубоко ему сочувствующей и столь ему благодарной, увидев из окна, как он один-одинешенек сидит под шелковицей, прийти и сесть рядом, чтобы скрасить его одиночество; и это же так естественно, что, когда он подскочил, гонимый, как она полагает, горестными воспоминаниями, и принялся вышагивать туда-сюда по лужайке, что и она встала и сочувственно засеменила рядом. Разве она может позволить, чтобы этот добрый человек – а он наверняка такой, иначе Джим не относился бы к нему с такой любовью, да и она сама в том убедилась, ведь он так помог ей и Люси, – так вот, разве может она позволить,

чтобы он оставался наедине со своими мрачными мыслями? Ведь бремя мрачных мыслей у него двойное, он пережил двойную потерю – ее дорогого брата и своей бедной супруги.

Все Энтуислы всегда были полны сочувствия, и, сидя рядом с Уимиссом или шагая рядом с ним по лужайке, она изливала на него потоки добросердечия. Уимисс курил трубку и почти все время молчал. Только так он мог держать себя в руках. Мисс Энтуисл, конечно же, не знала, что ему приходится держать себя в руках, и принимала его молчание за неспособность выразить, как он несчастен, и была до такой степени тронута, что сделала бы для него абсолютно все, все что угодно, все, что могло бы хоть как-то облегчить страдания этого доброго человека, – кроме, разумеется, поездки в Остенде. От этого ужасного предложения она продолжала вздрагивать, также отказалась она – а он снова высказал свое предложение, даже когда все было готово к отъезду, – и оставаться в Корнуолле.

Так что Уимисс не мог не прийти к заключению, что она не только эгоистична, но и упряма, и если бы не короткие моменты общих трапез, на которых появлялась Люси, способная сквозь свою печаль – а дела, которыми она занималась, вряд ли могли кого-либо порадовать – все же улыбаться ему и садиться к нему поближе, он бы вообще не вынес эти два дня.

Как же это жестоко, думал он, молча пыхтя трубкой и стараясь держать себя в руках, что Люси заберут у него, и кто? Старая дева, тетушка, незамужняя тетушка, которой наверняка пренебрегают все остальные родственники. Как жестоко, что такая особа имеет право стать между ним и Люси, капризничать, отказываться от всех предложений Уимисса и тем самым проявлять власть над ним, Уимиссом, делая его несчастным. Мисс Энтуисл была настолько незначительной, что он мог бы отбросить ее взмахом руки, но на ее защиту снова вставал этот монстр – общественное мнение, и заставлял его подчиняться любому из ее планов на Люси, каким бы сокрушительным ни был этот план для него, только потому, что состояла с Люси в кровном – малокровном! – родстве. Тетушка!

На протяжении этих двух полных безысходной тоски дней, которые он провел в саду, смертельно отравленном присутствием мисс Энтуисл, о Люси ему говорили только доносившиеся из открытых окон звуки передвигаемых коробок и ящиков, а видел он ее только за едой. Он мог бы это перенести, если бы не знал, что это его последние дни с ней и что он, несчастный, оставлен наедине со своими горестями. «Ну почему из-за каких-то одежек и бумаг его должны были вот так бросить?» – спрашивал он себя и чувствовал, что этот Джим ему уже порядком поднадоел.

– Неужели вы еще не все закончили? – спросил он за чаем второго дня сортировки и упаковки, когда Люси поднялась, чтобы вернуться к своим обязанностям, снова оставив его на мисс Энтуисл, – а он ведь не допил еще и второй чашки.

– О, вы даже не представляете, сколько там всего! – сказала она, и голос выдавал ее усталость. Она секунду помедлила, опершись на спинку тетушкиного стула. – Отец всегда возил с собой все свои бумаги, и груды писем от людей, которых он консультировал, а я пытаюсь их разобрать... Разложить так, как ему бы понравилось.

Мисс Энтуисл погладила руку Люси.

– Если б вы не так спешили уехать, то могли бы спокойно все разобрать, – сказал Уимисс.

– О, но мне совсем не нужно больше времени, – быстро ответила Люси.

– Люси имеет в виду, что ей не хочется все затягивать, – сказала мисс Энтуисл, прижавшись щекой к рукаву Люси. – Эти дела – они разрывают сердце. И никто помочь ей не в силах. Ей приходится проходить через все это самой.

Она нежно притянула Люси к себе, и они замерли, прижавшись щеками, у обеих на глазах снова были слезы.

Ну вот, опять слезы, подумал Уимисс. Эта тетушка все время будет доводить Люси до слез. Она из тех, кто упивается горем, думал он, молча набивая трубку.

Он вышел за ворота, перешел дорогу и стоял, глядя на вечернее море. Если он услышит шаги мисс Энтуисл, решившей преследовать его даже за пределами сада, он, не оглядываясь, отправится вниз, в бухту и в гостиницу, уж там-то она должна будет оставить его в покое. Все, с него хватит! То, что мисс Энтуисл вошла в их с Люси разговор, взялась объяснять, что Люси думает, стало последней каплей. Это же надо, суется повсюду, с негодованием думал он, а никто ведь не спрашивал ее мнения или пояснений! И еще гладит Люси по лицу, будто лицо Люси и сама Люси принадлежат ей целиком и полностью! И только потому, что она ее тетка! Только подумать, взяла на себя роль переводчика или переговорщика, все время крутится рядом – да она вообще тут возникла из-за того, что это он послал ей телеграмму! – а ведь они с Люси до этого были такими близкими друзьями, у них столько общего...

Нет, так больше продолжаться не может. Ему всякие там родственники не указ. Если бы они жили в те замечательные времена, когда люди вели себя естественно, он перекинул бы Люси через плечо и уволок в Остенде или Париж, и только посмеялся бы над этими надоедливыми насекомыми – тетушками. Но, увы, так поступить он не может, хотя не может и уразуметь, кому стало бы хуже, если бы двое скорбящих, он и Люси, вместе попытались бы обрести отдохновение. Ну почему они должны искать утешения по отдельности? Их блюющим приличия сопровождающим стала бы скорбь, особенно его скорбь. Вот если бы он смертельно заболел, никто и не пикнул бы, если бы Люси стала за ним ухаживать, так почему же она подвергнется осуждению, если станет утешать его израненную душу?

Он слышал шаги, направлявшиеся по садовой дорожке к воротам. Ну вот, опять эта тетушка, ищет его... Он стоял, твердо оборотившись спиной к дому, курил трубку и смотрел на море. Если он услышит, что ворота отворяются и она семенит к нему, тут же уйдет. В саду он был вынужден терпеть ее присутствие, поскольку сам был там гостем, но пусть только посмеет приблизиться к нему на королевской дороге!

Однако ворота не отворились, никто к нему не подошел, и через минуту он сам захотел повернуться и посмотреть. Он боролся с искушением, потому что, как только мисс Энтуисл поймает его взгляд, тут же ринется к нему – уж в этом он был уверен. Но Уимисс не мог долго противиться своим желаниям – всегда им поддавался, и, посопротивлявшись, все же обернулся. И правильно сделал! Потому что у ворот стояла Люси.

Она стояла, облокотившись о перекладину, как в то первое утро, но в этот раз ее взгляд не был пустым: она наблюдала за ним с глубоким и трогательным интересом.

Он стремительно перешел дорогу и воскликнул:

– Люси! Это вы? Почему вы меня не позвали? Мы потеряли целых полчаса...

– Не больше пары минут, – улыбнулась она ему с другой стороны ворот, и руки ее снова покоились в его руках, как в первое утро.

И каким же облегчением было для Уимисса снова видеть ее одну, видеть, как к нему снова обращается эта ее улыбка, доверчивая и – в этом он был уверен – радостная.

А затем на ее лицо снова набежала печаль.

– Я закончила с вещами отца и пришла за вами.

– Люси, ну как вы можете меня покинуть? – спросил Уимисс дрожащим голосом. – Как вы можете уехать от меня, уехать уже завтра, и снова бросить меня в пучину страданий, да, страданий?

– Но я должна ехать, – сказала она, явно расстроенная. – И вы не должны так говорить. Не должны снова мучить себя. Не позволяйте себе страдать, вы же такой храбрый и сильный!

– Только рядом с вами, без вас я ничто, – произнес Уимисс, и его глаза наполнились слезами.

Люси вспыхнула, потом стала медленно бледнеть. Его слова, то, как он их произнес, были похожи на... О нет, это невозможно, у них совершенно особые отношения, таких ни у кого и никогда не было! Это мгновенно возникшая близость, без всяких предварительных этапов.

Близость святая, защищенная от всего обыденного трагическими крылами Смерти. Он – ее восхитительный друг, прямой, щедрый, заботливый и добрый, ставший для нее опорой и убежищем в невероятных, ужасных обстоятельствах. И ведь у него самого кровоточит душа от ран, нанесенных ему людьми после смерти жены, которой он был так предан, он же сам ей об этом говорил, а сейчас он – о нет, это невозможно... Она опустила голову, устыдившись собственных мыслей. Но то, как он это сказал, сами его слова, они прозвучали, как... Нет, сама мысль об этом претила ей, однако они *действительно* прозвучали так, словно... Напомнили ей тот раз, когда ей делали предложение. Тот человек – это был молодой человек, ей никогда не делали предложений люди в возрасте вроде Уимисса – произнес почти такие же слова: «Без вас я ничто». И этот голос, глухой, дрожащий...

Как ужасно, сказала себе Люси, что в такой момент ей в голову лезут подобные мысли. Отвратительно, просто отвратительно...

От стыда она не могла поднять глаз, и Уимисс, глядя на ее маленькую головку с юными, блестящими волосами, склоненную, словно в молитве, Уимисс, у которого в этот момент во рту не было трубки и, следовательно, держать себя в руках он не мог – увидев ее у ворот, он торопливо засунул зажженную трубку в карман, и она там теперь прожигала дырку, – Уимисс, после краткой борьбы со своими желаниями, в которой он, как всегда, потерпел поражение, нагнулся и поцеловал ее волосы. А начав, продолжил.

Она была в шоке. От первого поцелуя она дернулась, словно от удара, потом стояла неподвижно, вцепившись в ворота, уставившись на свои и его руки, неспособная ни думать, ни поднять голову, пока с ее волосами проделывались эти невероятные вещи. Смерть реяла над ними, смерть проникла во все закоулки их существования, смерть набросила на них свою черную тень – и вдруг поцелуй! Ее разум был в абсолютном смятении, в ушах шумело. Она полностью и без оглядки доверяла ему, как ребенок доверяет любящему его другу, – доверяла не как отцу, хотя по возрасту он и годился ей в отцы, потому что отец, какими бы товарищескими ни были отношения с ее собственным отцом, все равно обладал властью. Доверие ее было даже чем-то большим, чем доверие ребенка другу: это было доверие ребенка к другому ребенку, наказанному за ту же провинность, – безыскусная дружба, понимание без слов.

Она в полной растерянности продолжала цепляться за ворота. Поцелуй... А жена только что умерла... Умерла так страшно... Сколько еще она должна стоять вот так... Голову она поднять не могла, потому что чувствовала, что от этого будет только хуже... И развернуться и убежать в дом тоже не могла, потому что он держал ее руки... Он не должен, нет, не должен... Это нечестно...

Что, о чем он говорит? Склонившись над нею, уткнувшись лицом ей в макушку, он произнес хриплым, надтреснутым голосом: «Мы – двое несчастных... Двое несчастных...» Больше ничего не сказал, а только стоял вот так, и ощутив влагу на своих волосах, она поняла, что он плачет.

И в этот миг мысли у нее перестали лихорадочно мелькать, обрели четкость. Ее сердце растаяло, слилось с его сердцем, поняв и сострадав. Как чудовищна одинокая печаль... Разве есть в мире что-то более жестокое, чем оставить человека наедине с печалью? Этот бедный разбитый горем человек... И она сама, потерявшаяся в одиночестве... Они были словно жертвы кораблекрушения, цепляющиеся друг за друга, чтобы не утонуть. Разве может она отпустить его, бросить в одиночестве? Разве можно, чтобы отпустили, бросили в одиночестве ее?

– Люси, – произнес он, – посмотрите на меня...

Она подняла голову, он отпустил ее руки и обнял ее за плечи.

– Посмотрите на меня, – повторил он, потому что она, хоть и подняла голову, но в глаза не смотрела.

Она глянула на него. Лицо его было залито слезами. У нее задрожали губы – она была не в состоянии вынести это зрелище.

– Люси... – повторил он.

Она закрыла глаза.

– Да, – выдохнула она, – да.

И медленно проведя ладонью вверх по его сюртуку, дотянулась до лица и попробовала стереть слезы.

VI

После чего с Люси все было кончено – по крайней мере, на этот момент. Она утратила себя полностью. Уимисс целовал ее закрытые глаза и полуоткрытые губы, целовал такие родные, восхитительные стриженные волосы. Слезы его высохли или, скорее, были стерты маленькой дрожащей ладошкой. Уимисс победил смерть, мысли о смерти растворились в ощущении победы. Его настроение мгновенно изменилось, и когда она, повинаясь его приказу, открыла глаза, то едва узнала склоненное над нею лицо: это было лицо счастливого человека. Счастливого! Но как он может быть счастлив сейчас? Она смотрела на него, и хоть и была растеряна и смущена, чувствовала изумление.

А потом вдруг подумала, что это она сделала все это, она изменила его, и взгляд ее смягчился, в нем появилось благоговение, схожее с тем, с которым молодая мать впервые смотрит на свое новорожденное дитя. «Вот какой он, – шепчет себе молодая мать в святом удивлении, – и это сделала я, он целиком мой». Так и Люси смотрела на нового, сияющего Уимисса в удивлении, благоговении перед тем, что она сама совершила: «Вот какой он».

А Уимисс просто сиял. Он даже забыл о том, что когда-либо пребывал в унынии. Он обнимал саму Любовь, ведь никто и никогда не выглядел таким воплощением его представления о любви, как Люси, смотревшая на него снизу вверх, такая нежная, такая беззащитная, такая покорная. А после ужина, в сумеречном саду, пока мисс Энтуисл упаковывала свои пожитки – они уезжали ранним поездом, – Уимисс и Люси сидели на скамейке, не разделенные воротами, и Люси по своей собственной воле прижалась щекой к его сюртуку, устроилась, словно в надежном и безопасном гнездышке.

– Детка, детка моя, – шептал Уимисс в пароксизме страстной заботливости, сам, в свою очередь, испытывая родительские чувства. – Вам больше никогда, никогда не придется плакать.

Его раздражало, что их помолвка – Люси сначала не соглашалась на слово «помолвка», но Уимисс, крепко обняв ее, сказал, что очень хотел бы знать, каким еще словом она может описать свое положение, – его раздражало, что их помолвка должна оставаться в тайне. Ему хотелось кричать о своей славе и гордости на весь белый свет. Но из-за трагических обстоятельств и траура даже Уимисс признавал, что это невозможно. Обычно он отбрасывал слово «невозможно» как несущественное, когда дело касалось препятствий между ним и малейшим из его желаний, однако память о дознании, как и о физиономиях так называемых друзей, еще была слишком свежа. А уж какие физиономии состроят эти так называемые друзья, если всего лишь через две недели после гибели Веры он сообщит им о помолвке, мог представить даже Уимисс, богатым воображением не отличавшийся. Что же касается Люси, то она, все еще в потрясении сначала от его слез, а потом от его радости, не могла трезво судить ни о чем. Она уже и не знала, ужасно ли предаваться любви в разгар скорби, или это, как утверждал Уимисс, суть естественное и прекрасное самоутверждение жизни. Ничего она больше не знала, кроме того, что они, жертвы кораблекрушения, спасли друг друга и что вот сейчас от нее ничего не требуется, никаких усилий, вообще ничего, кроме как сидеть, склонив голову на его грудь, пока он называет ее своей крошкой и нежно, чудесно целует ее закрытые глаза. Она не могла думать; ей не нужно было думать; о, она так устала – а рядом с ним были отдых и покой.

Но когда он ушел к себе в гостиницу, и в следующий проведенный без него день в поезде, и в первые несколько дней в Лондоне ее начали терзать сомнения.

То, что она встретила любовь, то, что она, как настаивал Уимисс, была помолвлена, хотя еще и недели после смерти отца не прошло, и кто-то мог бы назвать это святотатством, ее не особенно беспокоило. Этим она ни в коей мере не оскверняла памяти об отце, не умаляла своей бесконечной к нему любви. Он первым порадовался бы, что она нашла покой и защиту. Ее

беспокоило то, что Эверард – а Уимисс, оказывается, крещен был Эверардом – был способен думать о новой любви и новом браке вскоре после того, как его жена погибла столь ужасно, на его глазах, он же первым выбежал и увидел...

Она обнаружила, что вдали от него не в состоянии прогнать эти мысли. Они возвращались и возвращались, а почему – сама она понять не могла. Пока он был рядом, она впадала в оцепенение, глаза закрывались, мысли куда-то исчезали, после потрясений и мук той недели она просто отдавалась блаженству этого полубессознательного состояния, успокоительного и ласкового; и только когда от него стали приходить первые письма, простые, полные любви, принимающие ситуацию такой, какая есть, такой, какой ее предложила жизнь и смерть, письма, в которых не было тревожных вопросов, мрачных сомнений, оглядок на прошлое, но было трогательное, благодарное принятие настоящего, она постепенно пришла к спокойствию, что, в свою очередь, и успокаивало, и изумляло тетюшку. Его письма были такими понятными. В письмах отца, в письмах его друзей было слишком много сложных размышлений и тонких иносказаний. А у него даже почерк был круглый, неспешный, как у школьника. Люси и раньше его любила, но теперь она в него влюбилась еще и из-за этих писем.

VII

Мисс Энтуисл обитала в узком домишке на Итон-террас. Это был типичный небольшой лондонский дом: с улицы вы сразу попадаете в столовую, затем поднимаетесь вверх – гостиная, еще один лестничный пролет – спальня и гардеробная, и венчает все это комната служанки и ванная. Для одного человека вполне достаточно, для двоих – непросто. До такой степени непросто, что у мисс Энтуисл никто и никогда не гостил, а теперь из гардеробной вынесли ее наряды и шляпки, деть их было некуда, и они безвольно свисали с перил или набрасывались на Люси из-за дверей в ванную.

Но никто из Энтуислов никогда не стал бы роптать по такому поводу. Для друзей они были готовы на все, что уж говорить о дорогой племяннице, и тетушка была бы только счастлива, если бы племянница согласилась занять спальню, а она, тетушка, перешла бы в гардеробную – уж она-то знает, каково это, спать в гардеробной.

Люси, понятно, только улыбалась на это предложение, аккуратно устроилась в гардеробной, и первые недели их траура, которых мисс Энтуисл опасалась, причем опасалась за состояние их обеих, провела спокойно, тихо, можно даже сказать безмятежно.

В таком домишке ежедневная рутина может стать серьезным испытанием, если бы обитательницы не умели приспосабливаться. Мисс Энтуисл знала, что от Люси не стоит ждать никаких хлопот, однако опасалась, что постоянным трением друг о друга они будут растравлять свои горести.

К ее большому удивлению и облегчению ничего подобного не случилось. Корочка на свежих душевных ранах подсыхала, ничем не тревожимая. Люси не только не терзалась – бледность и опухшие глаза остались в Корнуолле, напротив, она казалась удивительно расслабленной. Пару дней после возвращения из Корнуолла она еще выглядела слегка *bouleversée*³, была подавленной, ходила по дому как потерянная, однако вскоре все это изменилось, и если бы мисс Энтуисл не знала ее, не знала, как огромна для нее эта потеря, она сказала бы, что Люси кажется счастливой. Да, это ее состояние таилось где-то в глубине, не прорываясь наружу, но, глядя на нее, можно было подумать, что где-то есть источник, из которого она черпает уверенность, источник, который согревает ее душу. «Неужели она нашла утешение в религии?» – думала тетушка, которая никогда в ней утешения не искала, как не искал Джим и никто из Энтуислов, насколько она могла судить. Нет, невозможно. Не для их породы. Но даже частые – по необходимости – визиты в дом в Блумсбери, где она так долго проживала с отцом, не могли поколебать этой ее тайной уверенности. Теперь, когда все печальные дела были улажены, книги и мебель отданы на хранение, а дом возвращен владельцу, и ей больше не было нужды погружаться в воспоминания, лицо ее стало таким, каким было раньше – с легким румянцем, мягкое, легко загоравшееся от какого-то слова или зрелища.

Мисс Энтуисл пребывала в затруднении. Такое спокойствие той, которая должна была бы скорбеть, заставляло ее чувствовать себя неловко, потому что она вроде как превосходила Люси в скорби. Если уж Люси смогла так удивительно собраться – а мисс Энтуисл полагала, что все дело именно в героических усилиях, – то и она на это способна. Память дорогого Джима надо почтить именно так: ей следует возблагодарить Господа за то, что он послал на землю дорогого Джима, затем возблагодарить Господа за то, что у нее был дорогой Джим, а затем, пребывая в этом состоянии бесконечной благодарности, продолжать свой жизненный путь.

Вот о чем размышляла, глядя на Люси, мисс Энтуисл. Казалось, она совершенно не думала о будущем – опять же, к удивлению и облегчению тетушки, которая волновалась, что Люси скоро начнет беспокоиться о своей дальнейшей участи. Об этом она никогда не загова-

³ сломленной (фр.).

ривала и, судя по всему, и не размышляла. Казалось, что у нее есть какая-то опора – вот-вот, именно это слово пришло на ум мисс Энтуисл, когда она наблюдала за Люси. Но на что она могла бы опереться? Уже во второй раз мисс Энтуисл отбросила идею религии. Невозможно, чтобы дочка Джима ударилась в религию – хотя все намекало именно на это.

Джим скопил достаточную сумму, чтобы после его смерти Люси ни в чем не нуждалась – доход с нее составлял около двух сотен фунтов в год. Это, конечно, немного, но Люси это явно не беспокоило. Возможно, она не представляет себе, что значат эти деньги, думала тетушка, потому что ее жизнь с отцом была такой легкой, в окружении всего того, что было необходимо человеку со слабым здоровьем и что обычным людям кажется роскошью. Как оказалось, опекуном никто назначен не был – в завещании не было ни слова о мистере Уимиссе. И вообще, это было очень краткое завещание: все переходило Люси. Мисс Энтуисл считала, что это как раз правильно, правда, завещать-то особо нечего. Кроме книг, тысяч книг, и прелестной старой мебели из дома в Блумсбери. Что ж, тогда Люси будет жить с ней, пока ей не надоест ютиться в гардеробной, а потом они снимут на двоих дом побольше, хотя мисс Энтуисл прожила в этом доме так долго, что для нее будет не просто съехать.

Так и миновали первые недели траура – в покое, потому что Лондон в это время был пуст, никто не вторгался к ним, не нарушал того, что выглядело как счастье. Они с Люси прекрасно ладили. И были не совсем одиноки: мистер Уимисс навещал их дважды в неделю, в одни и те же дни и настолько точно в пять, что мисс Энтуисл стала даже проверять по нему часы.

Он, бедненький, тоже вроде совладал с собой. В нем не осталось ничего от человека, недавно перенесшего тяжелую утрату, ни в выражении лица, ни в одежде. Не то чтобы он нарядился в цветные галстуки, ничего подобного, но и впечатления, что он в трауре, тоже уже не производил. Она заметила, что брюки он стал носить серые, и даже не темно-серые. Ну, может, это больше не в моде – чрезмерно скорбеть, подумала мисс Энтуисл, с сомнением взирая на упомянутые брюки. И все же не могла не думать, что черная лента на левом рукаве как-то уравнивала бы легкомысленность серых брюк, креповая лента, пусть даже самая узкая, ну, не обязательно креповая, просто из чего-то черного – в данных обстоятельствах, считала она, это было бы очень уместно.

Однако, что бы она там ни думала по поводу его брюк, принимала она его с бесконечной сердечностью, памятуя о проявленной им доброте там, в Корнуолле, и о том, как она сама прилепилась к нему, словно к скале, и вскоре она уже хорошо помнила, как он предпочитает пить чай, и самое большое и удобное кресло всегда стояло для него наготове, хотя кресел, тем более больших, в ее маленькой гостиной было немного, и старалась изо всех сил проявлять гостеприимство и поддерживать приятную беседу. Но чем больше она его узнавала, чем больше слушала его разговоры, тем больше удивлялась Джиму.

Мистер Уимисс был человеком положительным, она была в том уверена, и по собственному опыту знала, что он добр и разумен, но то, что он говорил, так отличалось от разговоров Джима, и его взгляды тоже отличались от взглядов Джима. Нет, это не значит, что все должны придерживаться одного мнения, в этом мире есть место для всех, напоминала себе мисс Энтуисл, сидя напротив него за чайным столиком и наблюдая за мистером Уимиссом, который в этой маленькой гостиной казался еще крупнее, еще успешнее – и, несомненно, все звезды на небе различаются, хоть все и сияют, – но все же она удивлялась Джиму. И если мистер Уимисс мог перенести потерю супруги вплоть до серых брюк, почему же он не переносит ее частые упоминания Джима? Она заметила, что каждый раз, когда заходила речь о Джиме – а как она могла не зайти в круг, состоявшем из его дочери, его сестры и его друга? – мистер Уимисс умолкал. Если бы не брюки, она приняла бы это за признак особой чувствительности и глубокой преданности. Но брюки, брюки...

Пока мисс Энтуисл размышляла подобным образом и наблюдала за Уимиссом – он-то к ней совсем не присматривался, разве только в первый момент удивился, поскольку теперь

она предстала совсем иной, не похожей на ту расклеившуюся леди в Корнуолле, теперь же она и сидела прямо, и двигалась быстро, – сам Уимисс, а вместе с ним Люси, хоть телами и пребывали здесь, душами же отсутствовали: они были погружены в свою любовь. Их окружал магический круг, сквозь который не мог пробиться никто и ничто, в этом кругу они сидели рука об руку в полной безопасности. Сердце Люси целиком принадлежало ему. Стоило ему войти в комнату, как на нее снисходил покой. Его взгляды были так естественны, так значительны, что все сложные, мучительные чувства как-то съеживались. Помимо того, что она его любила, была ему благодарна, желала, чтобы он был счастлив и забыл об ужасной трагедии, ей в его присутствии было очень комфортно. Она еще никогда не встречала никого, к кому могла бы прислониться и испытать такой душевный комфорт. В телесном отношении – в тех редких случаях, когда тетушки рядом с ними не было, – он тоже был чрезвычайно комфортен, он напоминал ей чудесный диван, дорогой, весь в мягких подушках. Душевно же он был более чем удобным – он был роскошным. Какой покой она ощущала, слушая его разговоры! От нее не требовалось никаких мыслительных усилий. Мир, согласно его взглядам, был либо таким, либо этаким. Для отца ничего не было либо таким, либо этаким, приходилось вслушиваться, напрягаться, стараясь понять систему различий, бесконечно множественных, изысканных, труднодоступных особенностей. Что же касается Эверарда, то его деление всего вокруг на две категории – для него все было либо белоснежным, либо черным-пречерным – действовало невероятно утешительно, как римско-католическая церковь. Ей не надо было напрягаться или беспокоиться, достаточно подчиниться. И подчиниться какой любви, какой надежности! Вечерами, перед тем как улечься, она думала о том, какая же она счастливая. Она тихо сидела в крохотной гардеробной, сложив руки на коленях, и повторяла про себя где-то вычитанную фразу:

«Когда Господь захлопывает дверь, Он отворяет окно».

Она ни на минуту не оставалась одна со своим горем. Почти сразу же в ее жизнь вошел Эверард и спас ее. Как дважды заподозрила ее тетушка, Люси действительно обрела религию, но ее религией был Уимисс. О, как же она его любила! И каждую ночь под подушку, с той стороны, где сердце, она укладывала его последнее письмо.

И если Люси никак не могла поверить, что ей достался Уимисс, то и он все никак не мог поверить, что ему досталась она. Он никогда в жизни еще не испытывал такого счастья, такой нежности, такой благостности. То, что он чувствовал по отношению к Вере, даже в самом начале их брака, не шло ни в какое сравнение с тем, что он испытывал сейчас, – в этом он был твердо убежден. Что же касается последних нескольких лет – о нет, одергивал он себя, вспоминая о Вере. Он отказывался теперь о ней думать. В последнее время она наполняла все его мысли, и какими ужасными были эти мысли. Его ангелочек Люси исцелила эту рану, так какой же смысл ее теревить? Ничего здорового в этом нет. Он пояснил Люси, которая поначалу восприняла эту мысль несколько болезненно, до какой степени вредно, не говоря уж о том, что просто глупо, не стараться преодолеть прошлое. Жизнь, говорил он, дана для того, чтобы жить, а смерть пусть остается мертвым. Настоящее – вот единственное, что есть у человека, как говорят все мудрецы, и по-настоящему мудрый человек, который также есть человек естественный, со здоровыми инстинктами и совершенно естественным стремлением избегать болезней и смерти, не позволяет прошлому, которое в любом случае уже миновало, вторгаться в настоящее, портить его. А прошлое, объяснял он, всегда к этому стремится. Единственный способ обезопасить себя от прошлого – забыть его.

– Но я не хочу забывать свое прошлое, – сказала Люси, открыв глаза, которые обычно бывали закрыты, поскольку так уж сложилось, что Уимисс высказывал ей все это, оставаясь с ней наедине, и в перерыве между поцелуями, которыми он покрывал ее веки. – Отец...

– О, ты, конечно, вольна помнить свое прошлое, – отвечал он, нежно улыбаясь над склоненной на его грудь аккуратной головкой. – Оно ведь такое маленькое. Но когда станешь старше, поймешь, что твой Эверард был прав.

Уимиссу в его новообретенном счастье казалось, что Вера была в совсем другой жизни, в старой, унылой жизни, из которой ему, человеку здравомыслящему, удалось выбраться и родиться заново, свежим и полностью пригодным для настоящего. Она умерла в сорок лет. Родилась она на пять лет позже него, но быстро его догнала и обогнала, и под конец ему казалось, что она намного старше. А здесь Люси, которой и так всего двадцать два, а выглядит она на двенадцать. Этот контраст все время его восхищал и наполнял гордостью. И какая же она миленькая, теперь, когда перестала все время плакать. Он обожал ее стрижку, из-за которой она казалась такой юной и вообще походила на мальчика, он обожал ее маленький носик с изящно вырезанными ноздрями, и ее довольно крупный, добрый рот, который так легко улыбался, и ее нежные глаза цвета нигеллы⁴. Он все твердил себе, что в женщине его привлекает не внешность, а преданность. Но то, что она хорошенькая, делало предвкушение момента, когда он, наконец, сможет представить ее своим друзьям, еще более приятным: он представит эту девушку тем самым друзьям, которые посмели отвернуться от него после смерти Веры, и скажет: «Вот, смотрите! Смотрите, какое совершенство – и *она* верит в меня!»

⁴ *Нигелла* – травянистое растение с бледно-голубыми цветами.

VIII

Лондон опустел, и Уимиссу это нравилось. Никого, кто мог бы, по его собственному выражению, выгнать его с поля, не было. Люси получала множество писем от отцовских друзей с предложениями разного рода помощи, но в своем нынешнем состоянии тайного блаженства она ни в какой помощи не нуждалась, и видаться ни с кем тоже не хотела, поэтому отвечала всем одинаково: благодарила и выражала туманную надежду на то, что позже они постараются встретиться. Некий молодой человек – тот самый, который уже несколько раз делал ей предложение, – был не из тех, от кого так просто отделаться, и – вот до какой степени дошла его любовь! – приехал из самой Шотландии, а приехав, узнал от смотрителя ее прежнего дома в Блумсбери, что теперь она проживает с тетушкой, и заявился на Итон-террас. Но в этот день Люси и мисс Энтуисл отправились на прогулку в нанятом Уимиссом автомобиле, и как раз когда молодому человеку дали от ворот поворот на Итон-террас, сама Люси сидела в лодке с Уимиссом на веслах – лодка направлялась к Хэмптон-корт, Уимисс греб медленно, поскольку запыхался, – а тетушка, прислонясь к каменному парапету набережной, за нею наблюдала. Молодому человеку повезло, что ему не удалось также за нею наблюдать, потому что то, что он увидел бы, вряд ли его обрадовало.

Этим вечером, перед тем как отправляться ко сну, мисс Энтуисл вдруг спросила:

– А чем занимается мистер Уимисс?

Вопрос застал Люси врасплох. До сих пор тетушка никогда не задавала вопросов по его поводу, а если и говорила, то только о его доброте и славном характере.

– Чем занимается мистер Уимисс? – растерянно повторила она, потому что вопрос не только застал ее врасплох – она обнаружила вдруг, что не имеет об этом ни малейшего представления. Она об этом никогда даже и не задумывалась, не говоря уж о том, чтобы спрашивать. Все это время она пребывала в блаженной дреме у него на груди.

– Да. Кто он такой, помимо того, что вдовец? – уточнила мисс Энтуисл. – Что вдовец, мы знаем, но это вряд ли можно считать профессией.

– Я... Я не знаю, – ответила Люси, и выглядевшая, и чувствующая себе невероятно глупо.

– Что ж, возможно, он не занимается ничем, – сказала тетушка, целуя ее на ночь. – Кроме того, чтобы быть пунктуальным, – добавила она с улыбкой, стоя в дверях своей спальни.

Пару дней спустя Уимисс снова нанял авто, чтобы отвезти их на прогулку в Виндзор, и тетушка, когда они приводили себя в порядок перед чаем в гостиничной дамской комнате, вдруг спросила – отвернувшись от зеркала и зажав в губах шпильку, которой намеревалась приколоть на место выбившийся из-за поездки в открытом автомобиле локон:

– От чего умерла миссис Уимисс?

Этот вопрос расстроил Люси. Если в ответ на предыдущий она попросту тупо воззрилась на тетушку, то на этот раз посмотрела на нее со страхом и, залившись краской, повторила за ней:

– От чего она умерла?

– Да. Чем она болела? – тетушка продолжала втыкать в прическу шпильки.

– Она... Она ничем не болела, – ответила Люси обреченно.

– Не болела?

– Я... Я знаю, что произошел несчастный случай.

– Несчастный случай? – тут мисс Энтуисл вынула изо рта еще не нашедшие своего места шпильки и в свою очередь в недоумении уставилась на Люси. – Что за несчастный случай?

– Полагаю, достаточно серьезный, – сказала совершенно растерявшаяся Люси.

Нет, она не могла рассказать эту кошмарную историю, которая и связала ее с Эверардом такими тесными, такими святыми, но ужасными узами!

На что ее тетушка заметила, что несчастный случай, приведший к чьей-то гибели, обычно и называется серьезным, и осведомилась, в чем, помимо серьезности, он состоял; загнанная в угол Люси, инстинктивно понимая, что тетушка, которая уже не раз выражала восхищение стойкостью, с которой мистер Уимисс переносил выпавшее на его долю испытание, будет еще больше поражена, узнав, насколько велика его трагедия, и может заинтересоваться причинами такой его героической стойкости, предпочла утаить правду, ответив, что не знает.

– Ах, – сказала тетушка, – что ж, бедняга он. Просто поразительно, как он стоически все переносит.

И перед ее мысленным взором, разбередив сомнения, вновь предстали серые брюки.

За чаем Уимисс, с простотой и естественностью, которые Люси находила столь восхитительными, принялся рассказывать о том, о чем люди более сложной душевной организации предпочли бы умолчать, а именно – о своем последнем посещении Виндзора.

Это было прошлым летом, сказал он, они с женой – тут мисс Энтуисл наострила ушки – приехали сюда на воскресенье и решили пообедать как раз здесь, но было столько народа и обслуживающий персонал явно не справлялся, так что они предпочли уехать без обеда.

– Положительно так и не пообедав, – повторил Уимисс, глядя на них с лицом, на котором читалось давнее возмущение.

– Ах, – сказала мисс Энтуисл, наклоняясь к нему через стол, – давайте не ворошить печальные воспоминания.

Уимисс устался на нее. Господи боже мой, она, что, думает, что он говорит о Вере? Да любой обладающий хоть крупницей здравого смысла должен понять, что говорит он исключительно о неудавшемся обеде.

Слегка рассердившись, он повернулся к Люси и адресовал следующую ремарку исключительно ей. Однако тетушка снова была тут как тут.

– Мистер Уимисс, – начала она. – Мне не терпится спросить вас...

И снова ему пришлось повернуться к ней. Свежий воздух и быстрая езда должны были приободрить его маленькую возлюбленную, однако приободрили и тетушку его маленькой возлюбленной, к тому же в последнее время он не мог не заметить в мисс Энтуисл тенденции во все лезть. Во время его первых восьми визитов на Итон-террас – что составило четыре недели после его возвращения в Лондон и шесть недель спустя похорон в Корнуолле, – он вряд ли замечал ее присутствие, нет, замечал, конечно, когда она присутствовала в гостиной, тем самым препятствуя его ухаживаниям. И все же в течение этих восьми визитов его первое впечатление о ней оставалось неизменным: жалкое создание, вцепившееся в него в Корнуолле, готовое в любой момент разрыдаться. И в Лондоне она вела себя, как любая глупая особа в присутствии смерти – никакого здравого смысла, никакой выдержки, стоит взглянуть на нее – тут же принимается реветь, и без остановки перечисляет достоинства почившего. При этом упрямая и, кроме того, выказывающая явные эгоистические черты. Он, однако, отметил, что слезы у нее значительно, а то и полностью просохли, так что она даже в чем-то стала лучше, и все равно она оставалась для него все той же тетушкой Люси – кем-то, кто разливает чай и прискорбно редко покидает гостиную, неизбежным, но, к счастью, временным злом. Однако сейчас она стала превращаться в того, кто существует на самом деле и по своим законам. Стала заявлять о себе. И даже когда молчала – а порой она во время встреч и пары слов не произносила, – она все равно заявляла о себе.

И вот пожалуйста, заявила о себе в полный голос, прямо так и спросив его за чайным столом – которому, несомненно, хозяином был он, – кто он по профессии, чем занимается.

Она же его гостя, а гостю не пристало спрашивать у хозяина, чем он занимается. Нет, он бы и сам рад был ей об этом доложить, но по своей инициативе. Человек, и это несомненно, имеет право на собственную инициативу. Уимисс никогда не терпел расспросов. Даже самые

невинные, обычные вопросы воспринимались им как посягательство на его неотъемлемые права.

Тетушка Люси, попивая чай – его чай, кстати, – сделала вид, что выглядело все это совершенно не оскорбительно, поскольку она замаскировала свой вопрос под обычное любопытство: ах, ей ужасно хочется знать о его занятиях. Она и сама видит – тут она улыбнулась его обтянутой серым ногой, – что он не епископ, а также не художник, музыкант или писатель, и что она нисколько не удивится, если он скажет, что он адмирал.

Умно, подумал Уимисс. Ничего не имеет против того, чтобы его приняли за адмирала, адмиралы – народ честный и открытый.

Задобренный таким предположением, он сообщил, что играет на бирже.

– Ах, вот как, – кивнула мисс Энтуисл с мудрым видом, поскольку в этом вопросе не разбиралась совершенно: биржевые операции и финансы были материей, совершенно Энтуислам чуждой. – Ах, вот как! Ну да. Быки и медведи⁵. Теперь я и сама вижу, что у вас оценивающий взгляд.

«Глупая женщина», – подумал Уимисс, которому по определенным причинам было неприятно, что при Люси заговорили о его оценивающем взгляде, но выбросил тетушку из головы и сосредоточился на своей крошке, в очередной раз вопрошая себя, когда же наконец можно будет, соблюдая приличия, превратить тайное ухаживание в официальное и избавиться от отомительной компании тетушки.

После обоих похорон прошло уже около двух месяцев, и уж скоро настанет пора сообщить тетушке об их помолвке, это точно. После этой поездки он начал в письмах и в редкие мгновения, когда оставался с Люси наедине, убеждать ее рассказать тетке. Больше никому знать и не обязательно, писал он, он вполне мог бы по-прежнему таить их помолвку от всего белого света, но совершенно очевидно, что им стало бы гораздо удобнее, если бы тетушка знала: только представь, она тогда перестала бы за ними присматривать, оставила бы их в покое, по крайней мере, в доме на Итон-террас.

Люси, однако, не соглашалась. Она пребывала в сомнениях. В письмах она уговаривала его набраться терпения. Говорила, что с каждой прошедшей неделей помолвка их будет вызывать все меньше удивления. Говорила, что сейчас пришлось бы слишком многое объяснять, а она не уверена, что даже после всех объяснений тетушка поймет их правильно.

В ответных письмах Уимисс отметал эти сомнения. Говорил, что тетушка должна будет их понять, и даже если не поймет, то какое это будет иметь значение? Главное – она будет осведомлена. Тогда, писал он, она будет вынуждена оставлять их, а не торчать рядом, и его малышка увидит, как чудесно будет, когда они долгие часы будут проводить наедине друг с другом. Потому что кто такая тетушка, в конце концов? Разве может она для Люси сравниться с ее Эверардом? Кроме того, он ненавидит секреты. Ни один честный человек не может долго что-то скрывать. Его малышка должна решиться и рассказать тетушке, ее Эверард знает, как лучше, или, если ей так будет лучше, он сам все расскажет.

Люси не считала, что так будет лучше, и Люси начала волноваться, потому что Уимисс становился все более настойчивым – ему все больше не нравились проявления независимого и острого ума мисс Энтуисл, а Люси не нравилось ему отказывать или даже сомневаться в его просьбах. Пока однажды утром за завтраком тетушка, вроде бы полностью поглощенная своим беконом, вдруг не посмотрела на нее поверх кофейника и не спросила:

– А как давно отец знаком с мистером Уимиссом?

Это решило все. Люси поняла, что больше не может выдерживать подобные удары. Она не может не облегчить совесть.

⁵ «Быки» – инвесторы, играющие на повышение, «медведи» – инвесторы, играющие на понижение.

– Тетя Дот, – пробормотала она: мисс Энтуисл звали Дороти. – Я должна... Я хочу... Мне надо рассказать тебе...

– Давай после завтрака, – коротко ответила мисс Энтуисл. – Нам нужно время, и чтобы нас никто не беспокоил. Перейдем в гостиную.

И сразу же заговорила о чем-то постороннем.

Может ли, размышляла Люси, уставившись в тост с маслом, тетя Дот о чем-то подозревать?

IX

Тетя Дот не просто могла – она действительно подозревала. Но вот того, что ей преподнесла Люси, она не подозревала, и ей было невероятно трудно все это переварить. Потому и два часа спустя Люси все еще стояла в центре гостиной и все еще страстно повторяла, навверное, в десятый раз:

– Ну как ты *не понимаешь*? Все именно *потому*, что то, что с ним случилось, было ужасно. Просто природа берет свое. Если бы он сейчас не был помолвлен, если бы он не выбрался из этой темной дыры и вновь не соприкоснулся с жизнью, с кем-то, кто ему сочувствует – кто любит его, он бы погиб, погиб или сошел с ума, и подумай, какой миру *прок* от того, что кто-то хороший, добрый, будет обречен на смерть или безумие? Тетя Дот, какая от этого *польза*?

А тетушка, сидя в привычном своем кресле у камина, все силилась понять и принять новости. У нее даже лицо от напряжения сморщилось. Она была серьезно расстроена.

Люси глядела на нее в отчаянии: неужели тетя, которую она так любит, не видит того, что видит она, не понимает того, что она понимает, и из-за этого не испытывает той уверенности и счастья, которые испытывает она, Люси? Нет, в этот момент она вовсе не была счастлива, она тоже была всерьез расстроена, она вся покраснелась, глаза ее сверкали, пока она пыталась объяснить Уимисса, показать его таким, каким она его видела, таким, каким он и был на самом деле, донести свое понимание до тетушкиного сознания.

Она облегчила свою совесть до самого доньшка, признавшись, в том числе, что она знала, какой несчастный случай произошел с миссис Уимисс, и даже описала его. Тетушка была шокирована. Ничего столь ужасного она и представить себе не могла. Падая, пролететь мимо окна, у которого сидел муж... Какой ужас, что Люси оказалась замешанной в таком, да еще так быстро после смерти ее естественного покровителя – или двух покровителей, потому что, будь миссис Уимисс жива, разве она, вкупе со своим мужем, не стала бы покровительницей для Люси? Она была озадачена и не могла понять реакций, которые Люси считала столь естественными для Уимисса. И пришла к заключению: ей все это непонятно, навверное, в силу возраста, она уже не обладает такой приспособляемостью, какая характерна для молодого поколения, хотя Уимисс навверняка ей ровесник. Во всяком случае, принадлежит к ее поколению, но однако же через полмесяца после столь ужасной смерти жены смог ее позабыть, смог полюбить снова...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.